„НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ“

Д-р ЗИГМУНД ФРЕЙД

ПСИХОПАТОЛОГИЯ ОБЫДЕННОЙ ЖИЗНИ

Кн-во „СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ“
Н. А. Стόлляр — Москва 1923


Ѳеодор
Мушников-
Мирволин.

Научная библиотека „СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ“

Д-р ЗИГМУНД ФРЕЙД

ПСИХОПАТОЛОГИЯ ОБЫДЕННОЙ ЖИЗНИ

Разрешенный автором перевод
В. МЕДЕМА

-е ИЗДАНИЕ

КН-ВО «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ»
Н. А. СТÓЛЛЯР, Москва 1923

Главлит № 12.419. Москва. Тираж 2000 экз.
3-я типография М.С.Н.Х. „Мосполиграф“, М. Грузинская,
Охотничий пер., д. 5/7.

ГЛАВА I.

Забывание собственных имен.

В 1898 г. я поместил в «Monatschrift für Psychiatrie und Neurologie» небольшую статью: «К вопросу о психическом механизме забывчивости»; содержание этой статьи послужит исходной точкой настоящего изложения. В ней я подверг на примере, взятом из моей собственной жизни, психологическому анализу чрезвычайно распространенное явление временного забывания собственных имен и пришел к тому выводу, что этот весьма обыкновенный и практически не особо важный вид расстройства одной из психических функций—способности припоминания—допускает объяснение, выходящее далеко за пределы обычных взглядов.

Психолог, которому будет поставлен вопрос, чем объясняется эта столь часто наблюдаемая неспособность припомнить знакомое, по существу, имя, ограничится скорее всего простым указанием на то, что собственные

имена вообще способны легче ускользать из памяти, нежели всякий другой элемент нашего психического содержания. Он приведет ряд более или менее правдоподобных предположений, обосновывающих это своеобразное преимущество собственных имен. Но мысль о существовании иной причинной зависимости будет ему чужда.

Для меня лично поводом для более внимательного изучения данного феномена послужили некоторые частности, встречавшиеся если и не всегда, то все же в некоторых случаях обнаружившиеся с достаточной ясностью. Это было именно в тех случаях, когда на-ряду с *позабыванием* наблюдалось и *неверное припоминание.* Субъекту, силящемуся вспомнить ускользнувшее из его памяти имя, приходят в голову иные, *подставные* имена; и если эти имена и опознаются сразу же, как неверные, то они все же упорно возвращаются вновь с величайшей навязчивостью. Весь процесс, который должен вести к воспроизведению искомого имени, потерпел как бы известный сдвиг и приводит к своего рода подмену.

Наблюдая это явление, я исхожу из того, что сдвиг этот отнюдь не является актом психического произвола, что он, напротив, совершается в рамках закономерных и поддающихся научному учету. Иными словами,

я предполагаю, что «подставное» имя или имена стоят в известной, могущей быть вскрытой, связи с искомым словом, и думаю, что если бы эту связь удалось обнаружить, этим самым был бы пролит свет и на самый феномен забывания имен.

В том примере, на котором я построил свой анализ в указанной выше статье, забыто было имя художника, написавшего известные фрески в соборе итальянского городка Орвието. Вместо искомого имени — Синьорелли — мне упорно приходили в голову два других—Ботичелли и Больтраффио; эти два подставных имени я тотчас же отбросил, как неверные, и когда мне было названо настоящее имя, я не задумываясь признал его. Я попытался установить, благодаря каким влияниям и путем каких ассоциаций воспроизведение этого имени потерпело подобного рода сдвиг (вместо Синьорелли—Ботичелли и Больтраффио), и пришел к следующим результатам:

а) Причину того, почему имя Синьорелли ускользнуло из моей памяти, не следует искать ни в особенностях этого имени, самого по себе, ни в психологическом характере той комбинации, в которой оно должно было фигурировать. Само по себе имя это было мне известно не хуже, чем одно из подставных имен (Ботичелли) и несравненно лучше, нежели второе подставное имя—Больтраффио;

об этом последнем я не знал почти ничего, разве лишь, что этот художник принадлежал к миланской школе. Что же касается до комбинации, в которой находилось данное имя, то она носила ничего не значащий характер и не давала никаких нитей для выяснения вопроса: я ехал лошадьми с одним чужим для меня господином из Рагузы (в Далмации) в Герцеговину; мы заговорили о путешествиях по Италии, и я спросил моего спутника, был ли он уже в Орвието и видел ли знаменитые фрески... NN.

б) Объяснить исчезновение из моей памяти этого имени мне удалось лишь после того, как я восстановил тему, непосредственно предшествовавшую данному разговору. И тогда весь феномен предстал предо мной, как процесс *вторжения* этой предшествовавшей темы в тему дальнейшего разговора и *нарушения* этой последней. Непосредственно перед тем, как спросить моего спутника, был ли он уже в Орвието, я беседовал с ним о нравах и обычаях турок, живущих в Боснии и Герцеговине. Я рассказал, со слов одного моего коллеги, практиковавшего в их среде, о том, с каким глубоким доверием они относятся к врачу, и с какой покорностью преклоняются пред судьбой. Когда сообщаешь им, что больной безнадежен, они отвечают: «*Господин* (Herr), о чем тут говорить? Я знаю,

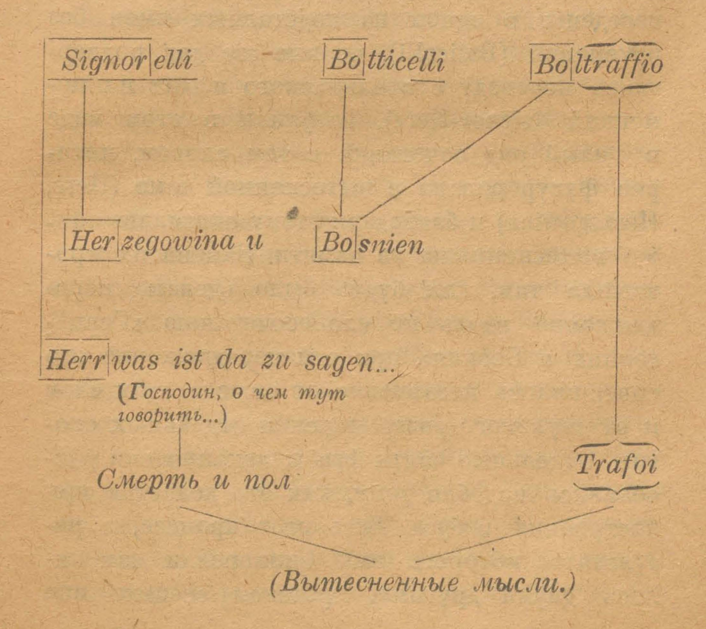
если бы его можно было спасти, ты бы спас его».—Здесь, в этом разговоре мы уже встречаем такие слова и имена—Босния и Герцеговина (Herzegowina), Herr (господин),—которые поддаются включению в ассоциативную цепь, связывающую между собою имена Signorelli (signor — господин), Ботичелли и Больтраффио.

в) Я полагаю, что мысль о нравах боснийских турок оказалась способной нарушить течение следующей мысли благодаря тому, что я отвлек от нее свое внимание прежде, чем додумал ее до конца. Дело в том, что я хотел было рассказать моему собеседнику еще один случай, связанный в моей памяти с первым. Боснийские турки ценят выше всего на свете половое наслаждение и в случаях заболеваний, делающих его невозможным, впадают в отчаяние, резко контрастирующее с их фаталистическим равнодушием к смерти. Один из пациентов моего коллеги сказал ему раз: «Ты знаешь, *господин* (Herr), если лишиться этого, то жизнь теряет всякую цену». Я воздержался от сообщения об этой характерной черте, не желая касаться в разговоре с чужим человеком несколько щекотливой темы. Но я сделал при этом еще нечто большее; я отклонил свое внимание и от дальнейшего развития тех мыслей, которые готовы были у меня возникнуть в связи с те-

мой «смерть и пол». Я находился в то время под впечатлением известия, полученного несколькими неделями раньше, во время моего пребывания в Trafoi: один из моих пациентов, на лечение которого я потратил много труда, покончил с собой вследствие неисцелимой половой болезни. Я точно знаю, что во время моей поездки в Герцеговину это печальное известие и все то, что было с ним связано, не всплывало в моем сознании. Но совпадение звуков Trafoi—Boltraffio заставляет меня предположить, что в этот момент, несмотря на то, что я намеренно направил свое внимание в другую сторону, данное воспоминание все же оказало свое действие.

г) После всего сказанного я уже не могу рассматривать исчезновение из моей памяти имени Синьорелли, как простую случайность. Я должен признать здесь наличность известного *мотива*. Имелись известные мотивы, побудившие меня прервать рассказ о нравах турок; они же побудили меня отгородить от моего сознания связанные с этим рассказом мысли, ассоциировавшиеся в свою очередь с известием, полученным мною в Trafoi. Я хотел, таким образом, нечто позабыть и вытеснил это нечто из памяти. Конечно, позабыть я хотел не имя художника из Орвието, а нечто другое, но этому другому удалось ассоциативно связаться с этим именем; так

что мой волевой акт попал мимо цели, и в то время, как намеренно я хотел забыть одну вещь, я забыл—против своей воли—другую. Нежелание вспомнить направлялось против одного; неспособность вспомнить обнаружилась на другом. Конечно, проще было бы, если бы и нежелание, и неспособность сказались на одном и том же объекте.—С этой точки зрения подставные имена представляются мне уже не столь произвольными. Они создают известного рода компромисс: напоминают и о том, что я хотел вспомнить, и о



том, что я позабыл; они показывают, таким образом, что мое намерение позабыть нечто не увенчалось ни полным успехом, ни полным неуспехом.

д) Весьма очевидна та связь, которая установилась между искомым именем и вытесненной темой («смерть и пол»; к ней же относятся имена: Босния, Герцеговина и Trafoi). Предлагаемая схема пояснит эту связь.

Имя Signorelli разложилось при этом на две части. Последние два слога (elli) воспроизведены в одном из подставных имен без изменений (Boticelli), первые же два подверглись переводу с итальянского языка на немецкий (signor-Herr), вступили в этом виде в целый ряд сочетаний с тем словом, которое фигурировало в вытесненной теме (Herr, Herzegowina) и благодаря этому оказались также вытесненными из памяти. Замена их произошла так, как будто было сделано передвижение вдоль по словосочетанию «Герцеговина и Босния», при чем передвижение это совершилось независимо от смысла этих слов и от звукового разграничения отдельных слогов. Отдельные части фразы механически рассекались подобно тому, как это делается при построении ребуса. Весь этот процесс, в результате которого имя Синьорелли заменилось двумя другими, протекал всецело вне

сознания. За вычетом совпадений одних и тех же слогов (или точнее сочетаний букв) никакой иной связи, которая объединяла бы обе темы—вытесненную и следующую—установить на первых порах не удается.

Быть может, нелишне будет заметить, что приведенное выше объяснение не противоречит обычному у психологов взгляду на акт воспроизведения и позабывания, как обусловленный известным соотношением и расположением психических элементов. Мы лишь присоединили к этим обычным, давно признанным моментам, для некоторых случаев еще один момент—*мотив*; и кроме того, выяснили механизм неправильного припоминания. Что же касается до того «расположения», о котором говорится обычно, то оно необходимо и в нашем случае, ибо иначе вытесненный элемент вообще не мог бы вступить в ассоциативную связь с искомым именем и тем самым вовлечь его в круг вытесняемого. Быть может, если бы дело шло о каком-либо другом имени, более приспособленном для воспроизведения, это явление и не имело бы место. Ибо вполне вероятно, что подавленный элемент постоянно стремится каким-либо иным путем пробиться наружу, но удается это ему лишь там, где имеются соответствующие благоприятные условия. С другой стороны, подавление может произойти и без

функціонального расстройства или, как мы могли бы с полным правом сказать, без *симптомов*.

Сводя воедино все те условия, при которых забываются и неправильно воспроизводятся имена, мы получим: 1) известное расположение, благоприятное для позабывания; 2) незадолго перед тем происшедшее подавление и 3) возможность установить внешнюю ассоциативную связь между соответствующим именем и подавленным элементом. Впрочем, этому последнему условию вряд ли приходится приписывать особое значение, ибо требования, предъявляемые к ассоциативной связи, столь невелики, что установить ее в большинстве случаев можно. Другой вопрос—и вопрос более глубокий—это, действительно ли достаточно одной внешней ассоциации для того, чтобы вытесненный элемент мог помешать воспроизведению искомого имени, и не требуется ли иной, более интимной связи между обеими темами. При поверхностном наблюдении это последнее требование кажется излишним, и простая смежность во времени, не предполагающая внутренней связи, представляется достаточной. Однако, при более внимательном изучении все чаще оказывается, что связанные внешней ассоциацией элементы обладают, кроме того, известной связью и по своему содержанию, и в нашем при-

мере с именем Синьорелли также можно вскрыть подобную связь.

Ценность тех выводов, к которым мы пришли в результате нашего анализа, зависит, конечно, от того, является ли данный пример (Синьорелли) типическим или единичным. Я, с своей стороны, утверждаю, что процесс позабывания и неправильного воспроизведения имен совершается сплошь да рядом именно так, как в данном случае. Почти каждый раз, как мне случалось наблюдать это явление на себе самом, я имел возможность объяснить его именно указанным образом: как акт, мотивированный вытеснением. Должен указать и еще на одно соображение, подтверждающее типический характер нашего наблюдения. Я думаю, что нет основания делать принципиальное различие между теми случаями позабывания, когда оно связано с неправильным воспроизведением имен, и простым позабыванием, не сопровождающимся подставными именами. В ряде случаев эти подставные имена всплывают самопроизвольно; в других случаях их можно вызвать напряжением внимания, и тогда они обнаруживают такую же связь с вытесненным элементом и искомым именем, как и при самопроизвольном появлении. Решающее значение в этом процессе всплывания имеют, повидимому, два момента: напряжение внимания, с

одной стороны, а с другой—некоторое внутреннее условие, относящиеся уже к свойствам самого психического материала: это, быть может, та степень легкости, с какой создается между обоими элементами необходимая внешняя ассоциация. Таким образом немалое количество случаев простого позабывания без подставных имен, можно отнести к тому же разряду, для которого типичен пример Синьорелли. Я не решусь утверждать, что к этому разряду могут быть отнесены все случаи забывания имен. Но думаю, что буду достаточно осторожен, если, резюмируя свои наблюдения, скажу: *на-ряду с обыкновенным забыванием собственных имен встречаются и случаи забывания мотивированного, при чем мотивом служит вытеснение.*

II.

Забывание иностранных слов.

Слова, обычно употребляемые в нашем родном языке, повидимому, защищены от забывания в пределах нормально функционирующей памяти. Иначе обстоит дело, как известно, со словами иностранными. Предрасположение к позабыванию их существует по отношению ко всем частям речи, и первая ступень функционального расстройства сказывается в той неравномерности, с какой мы располагаем запасом иностранных слов в зависимости от нашего общего состояния и от степени усталости. Позабывание это происходит в ряде случаев путем того же механизма, который был раскрыт перед нами в примере «Синьорелли». Чтобы доказать это, я приведу анализ всего только одного, но имеющего ценные особенности, случая, когда забыто было иностранное слово (не существительное) из латинской цитаты. Позволю себе изложить этот небольшой эпизод подробно и наглядно.

Прошлым летом я возобновил — опять-таки во время вакационного путешествия — знакомство с одним молодым человеком, университетски образованным, который, как я вскоре заметил, читал некоторые мои психологические работы. В разговоре мы коснулись — не помню уже почему — социального положения той народности, к которой мы оба принадлежим, и он, как человек честолюбивый, стал жаловаться на то, что его поколение обречено, как он выразился, на захирение, не может развивать своих талантов и удовлетворять свои потребности. Он закончил свою страстную речь известным стихом из Виргилия, в котором несчастная Дидона завещает грядущим поколениям отмщение Энею: «Exoriare»... и т. д. Вернее, — он *хотел* так закончить; ибо восстановить цитату ему не удалось, и он попытался замаскировать явный пропуск при помощи перестановки слов: «exoriar(e) ex nostris ossibus ultor!». В конце-концов, он с досадой сказал мне: «Пожалуйста, не стройте такого насмешливого лица, словно бы вы наслаждались моим смущением; лучше помогите мне. В стихе чего-то не хватает. Как он собственно гласит в полном виде?».

— Охотно, ответил я, и процитировал подлинный текст: «Exoriar(e) aliquis nostris ex ossibus ultor!».

«Как глупо позабыть такое слово! Впрочем, вы ведь утверждаете, что ничего не забывается без основания. В высшей степени интересно было бы знать, каким образом я умудрился забыть это неопределенное местоимение aliquis».

Я охотно принял вызов, надеясь получить новый вклад в свою коллекцию. «Сейчас мы это узнаем, — сказал я ему, — я должен вас только просить сообщить мне *откровенно не критикуя* все, что вам придет в голову, лишь только вы без какого-либо определенного намерения сосредоточите свое внимание на позабытом слове» [1]).

«Хорошо. Мне приходит в голову курьезная мысль: расчленить слово следующим образом: *a* и liquis».

«Зачем?» — «Не знаю». — «Что вам приходит дальше на мысль?—«дальше идет так: *реликвии, ликвидация, жидкость, флюид.* Дознались вы уже до чего-нибудь?».

«Нет, далеко еще нет. Но продолжайте».

«Я думаю—продолжал он с ироническим смехом—о *Симоне Триентском*, реликвии которого я видел два года тому назад в одной церкви в Триенте. Я думаю об обвинении в

[1]) Это обычный путь, чтобы довести до сознания скрытые от него элементы представлений. Ср. мою „Traumdeutung“.

употреблении христианской крови, выдвигаемом как раз теперь против евреев и о книге Kleinpaul'а, который во всех этих якобы жертвах видит новые воплощения, так сказать, новые издания Христа».

«Эта мысль не совсем чужда той теме, о которой мы с вами беседовали, когда вы позабыли латинское слово».

«Верно. Я думаю, далее, о статье в итальянском журнале, который я недавно читал. Помнится, она была озаглавлена.

Что говорит св. Августин о женщинах? Что вы с этим сделаете?».

— Я жду.

«Ну теперь идет нечто такое, что уже наверное не имеет никакого отношения к нашей теме».

«Пожалуйста воздержитесь от критики и»—

«Знаю. Мне вспоминается чудесный старый господин, с которым я встретился в пути на прошлой неделе. Настоящий *оригинал*. Имеет вид большой хищной птицы. Его зовут, если хотите знать, *Бенедикт*».

«Получаем, по крайней мере, сопоставление святых и отцов церкви — св. *Симон, св. Августин, св. Бенедикт*. Один из отцов церкви назывался, кажется, *Оригин*. Три имени из перечисленных встречаются и в наше время, равно как и имя Paul (Павел) из Kleinpaul».

«Теперь мне вспоминается святой *Януарий* и его чудо с кровью—но мне кажется, что это идет дальше уже чисто механически!»

«Оставьте; и святой Януарий, и святой Августин имеют оба отношение к календарю. Не напомните ли вы мне, в чем состояло чудо с кровью св. Януария?»

«Вы, наверное, знаете это. В одной церкви в Неаполе хранится в склянке кровь св. Януария, которая в определенный праздник чудесным образом становится вновь *жидкой*. Народ чрезвычайно дорожит этим чудом и приходит в сильное возбуждение, если оно почему-либо медлит случиться, как это и было раз во время французской оккупации. Тогда командующий генерал—или, может-быть, это был Гарибальди?—отвел в сторону священника и, весьма выразительным жестом указывая на выстроенных на улице солдат, сказал, что он *надеется*, что чудо вскоре совершится...»

«Ну, дальше? Почему вы запнулись?»

«Теперь мне действительно пришло нечто в голову... Но это слишком интимно для того, чтобы я мог рассказать... К тому же я не вижу никакой связи и никакой надобности рассказывать об этом».

«О связи уже я позабочусь. Я, конечно, не могу заставить вас рассказывать мне неприятные для вас вещи; но тогда уже и вы не тре-

буйте от меня, чтобы я вам объяснил, каким образом, вы забыли слово aliquis».

«В самом деле? Вы так думаете? Ну так я внезапно подумал об одной даме, от которой я могу получить известие, очень неприятное для нас обоих».

— О том, что у нее не наступило месячное нездоровье?

«Как вы могли это отгадать»?.

«Теперь это уже не трудно, вы меня достаточно подготовили. Подумайте только о календарных святых, о переходе крови в жидкое состояние в определенный день, о возмущении, которое вспыхивает, если событие не происходит, и недвусмысленной угрозе, что чудо должно совершиться, не то...»

«Вы, сделали из чуда св. Януария прекрасный намек на нездоровье вашей знакомой».

«Сам того не зная. И вы думаете действительно, что из-за этого тревожного ожидания я был не в состоянии воспроизвести словечко aliquis?»

«Мне представляется это совершенно несомненным. Вспомните только ваше расчленение a—liquis и дальнейшие ассоциации: реликвии, ликвидации, жидкость... Я мог бы еще включить в комбинацию принесенного в жертву *ребенком* св. Симона, о котором вы подумали в связи со словом религии».

«Нет уже, не надо. Я надеюсь, что вы не примите всерьез этих мыслей, если даже они и появились у меня действительно. Зато я должен вам признаться, что дама, о которой идет речь,—итальянка, и что в ее обществе я посетил Неаполь. Но разве все это не может быть чистой случайностью?».

«Можно ли это объяснить случайностью,— я предоставлю судить вам самим. Должен только вам сказать, что всякий аналогичный случай, подвергнутый анализу, приведет вас к столь же замечательным «случайностям».

Целый ряд причин заставляет меня высоко ценить этот маленький анализ, за который я должен быть благодарен моему тогдашнему спутнику. Во-первых, я имел возможность в данном случае пользоваться таким источником, к которому обычно не имею доступа. По большей части мне приходится добывать примеры нарушения психических функций в обыденной жизни путем собственного самонаблюдения. Несравненно более богатый материал, доставляемый мне многими пациентами нервно-больными, я стараюсь оставлять в стороне во избежание возражений, что данные феномены происходят в результате и служат проявлениями невроза. Вот почему для моих целей особенно ценны те случаи, когда нервно-здоровый чужой человек соглашается быть объектом исследования. Приведенный

анализ имеет для меня еще и другое значение: он освещает случай забвенья, не сопровождающегося появлением подставных слов, и подтверждает установленный мной выше тезис, что факт появления или отсутствие подставных слов не может обусловливать существенного различия [1]).

---

[1]) Более тщательное наблюдение несколько суживает различие между случаями Signorelli и aliquis поскольку дело касается подставных воспоминаний Повидимому и во втором примере забвение также сопровождалось некоторым процессом замещения. Когда я впоследствии спросил своего собеседника, не пришло ли ему на мысль, в то время как он силился вспомнить недостающее слово, что-либо другое в замену его, он сообщил мне, что сперва испытывал поползновение вставить в стих слово ab: nostris ab ossibus (быть может это оставшаяся свободной часть a—liquis), а затем, что ему особеннно отчетливо и настойчиво навязывалось слово exviare. Оставаясь скептиком, он добавил: „Это об'ясняется, очевидно, тем, что то было первое слово стиха“.—Когда я попросил его обратить внимание на слова, ассоциирующиеся у него с exoriare он назвал: экзорцизм. Легко себе представить, что усиление слова exoriare при репродукции и было в сущности равносильно образованию подставного слова. Оно могло исходить от имени с в я т ы х чрез ассоциацию „экзорцизм“. Впрочем это тонкости, которым нет надобности придавать значения.—Но весьма возможно, что всплывание того или иного подставного воспоминания служит постоянным, а может быть только характерным и предательским признаком того, что данное позабывание тендециозно

Но главная ценность примера aliquis заключается в другой особенности, отличающей его от случая Синьорелли. В последнем примере воспроизведение имени было нарушено воздействием некоего хода мыслей, начавшегося и оборванного непосредственно перед тем, но по своему содержанию не стоявшего ни в какой заметной связи с новой темой, заключавшей в себе имя Синьорелли. Между вытесненным элементом и темой забытого имени существовала лишь смежность по времени; и ее было достаточно для того, чтобы оба эти элемента связались один с другим путем внешней ассоциации [1]. Напротив, в приме-

---

и мотивируется вытеснением. Прецесс образования подставных имен мог бы имется налицо даже и в тех случаях, когда всплывание неверных имен и не совершается, и сказывался бы тогда в усилении какого-либо элемента, смежного с позабытым. Так в примере Signorelli у меня все то время, что я не мог вспомнить его фамилии, было необычайно ярко зрительное воспоминание о цикле фресок и о помещенном в углу одной из картин портрете художника,— во всяком случае оно было у меня гораздо интенсивнее, чем у меня бывают обычно зрительные воспоминания. В другом случае—также сообщенном в моей статье 1898 г.—Я безнадежно позабыл название одной улицы в чужом городе, на которую мне предстояло пойти с неприятным визитом; но номер дома запомнился мне с необычайной яркостью, в то время как обыкновенно я запоминаю числа лишь с величайшим трудом.

[1]) Я не решился бы с полной уверенностью утверждать об отсутствии всякой внутренней связи между

ре aliquis нет и следа подобной независимой, вытесненной темы, которая занимала бы непосредственно перед этим сознательное мышление и затем продолжала бы оказывать свое действие в качестве расстраивающего фактора. Расстройство репродукции исходит здесь извнутри из самой же темы в силу того, что против выраженного в цитате пожелания бессознательно заявляется протест. Процесс этот следует представить себе в следующем виде. Говоривший выразил сожаление по поводу того, что нынешнее поколение его народа ограничено в правах; новое поколение—предсказывает он вслед за Дидоной—отомстит притеснителям. Он высказывает таким образом пожелание о потомстве. В этот момент сюда врезывается противоречащая этому мысль. «Действительно ли ты так горячо желаешь себе потомства? Это неправда. В каком затруднительном положении ты бы оказался, если бы получил теперь известие, что ты должен ожидать потомства от известной тебе женщины? Нет, не надо потомства,—как ни нужно оно нам для отомщения». Этот протест производит свое действие тем же пу-

---

обоими кругами мыслей в примере Синьорелли. При тщательном рассмотрении вытесненных мыслей на тему „смерть и половая жизнь“ все же наталкиваешься на идею, близко соприкасающуюся с темой фресок в Орвието.

тем, что и в примере Синьорелли: образуется внешняя ассоциация между одним каким-либо из числа заключающихся в нем представлений и каким-нибудь элементом опротестованного пожелания; притом на сей раз ассоциация устанавливается обходным путем, имеющим вид в высшей степени искусственный. Второй существенный пункт схождения с примером Синьорелли заключается в том, что протест берет свое начало из вытесненных элементов и исходит от мыслей, которые могли бы отвлечь внимание.—На этом мы покончим с различиями и внутренним сходством обоих примеров забывания имен. Мы познакомились еще с одним механизмом забывания—это: нарушение хода мысли силою внутреннего протеста, исходящего от чего-то вытесненного. С этим процессом, который представляется нам более удобопамятным, мы еще неоднократно встретимся в дальнейшем изложении.

III.

Забывание имен и словосочетаний.

В связи с тем, что мы сообщили выше о процессе позабывания отдельных частей той или иной комбинации иностранных слов, может возникнуть вопрос, нуждается ли позабывание словосочетаний на родном языке в существенно ином объяснении. Правда, мы обычно не удивляемся, когда заученная наизусть формула или стихотворение спустя некоторое время воспроизводится неточно, с изменениями и пропусками. Но так как позабывание это затрагивает неравномерно заученные в общей связи вещи и опять-таки как бы выламывает из них отдельные куски, то не мешает подвергнуть анализу отдельные случаи подобного рода ошибочного воспроизведения.

Один молодой коллега в разговоре со мной высказал предположение, что забывание стихотворений, писанных на родном языке, быть может, мотивируется так же, как и забывание отдельных элементов иностранного словосочетания, и предложил себя в качестве

объекта исследования. Я спросил его, на каком стихотворении он хотел бы произвести опыт, и он выбрал «Коринфскую невесту», стихотворение, которое он очень любит и из которого помнит наизусть по меньшей мере целые строфы. С самого же начала у него обнаружилась странная неуверенность. «Как оно начинается: «Von Korinthos nach Athen gezogen»—спросил он—или Nach Korinthos Von Athen gezogen?» [1]). Я тоже на минуту заколебался было, но затем заметил со смехом, что уже самое заглавие стихотворения «Коринфская невеста» не оставляет сомнения в том, куда лежит путь юноши. Воспроизведение первой строфы прошло затем гладко, или по крайней мере без заметного искажения. После первой строки второй строфы мой коллега на минуту запнулся; вслед затем он продолжал так:

«Aber wird er auch willkommen scheinen,
Jetzt wo jeder Tag was Neues bringt?
Denn er ist noch Heide, mit den Seinen.
Und sie sind Christen und—getauft» [2]).

Мне уже раньше что-то резнуло ухо; по окончании последней сроки мы оба были со-

---

[1]) „Придя из Коринфа в Афины" или „из Афин в Коринф".

[2]) „Не будет ли он желанным гостем,
Теперь, когда каждый день приносить что-
либо новое?

гласны, что здесь произошло искажение. И так как нам не удавалось его исправить, то мы отправились в библиотеку, взяли стихотворение Гете и к нашему удивлению нашли, что вторая строка этой строфы имеет совершенно иное содержание, которое было как бы выкинуто из памяти моего коллеги и заменено другим, повидимому совершенно посторонним. У Гете стих гласит:

«Aber wird er auch willkommen scheinen,
Wenn er teuer nicht die Gunst erkauft» [1]).

Слово «erkauft» рифмовало с «getauft», и мне показалось странным, что сочетание слов «язычник», и «христиане» и «крещен» так мало помогло восстановлению текста.

— Можете вы себе объяснить, спросил я коллегу—каким образом в этом столь хорошо знакомом вам, по вашему, стихотворении, вы так решительно вытравили эту строку? И нет ли у вас каких-либо догадок насчет той комбинации, из которой возникла заместившая эту строку фраза?

Оказалось, что он может дать мне объяснение хотя и сделал он это с явной неохотой: «Строка: Jetzt, wo jeder Tag was Neues bringt представляется мне знакомой; по всей вероят-

---

Ибо он язычник с своими родными,
А они христиане—и крещены"

[1]) „Не будет ли он желанным гостем,
Если не купит милости дорогой ценой".

ности я употребил ее недавно, говоря о моей практике, которая, как вам известно, все улучшается, чем я очень доволен. Но каким образом попала эта фраза сюда? Мне кажется, я могу найти связь. Строка «wenn teuer nicht die Gunst erkauft» мне была явно неприятна. Она находится в связи со сватовством, в котором я в первый раз потерпел неудачу и которое теперь, ввиду улучшившегося материального положения, я хочу возобновить. Больше я вам не могу сказать, но ясно, что если я теперь получу утвердительный ответ, мне не может быть приятна мысль о том, что теперь, как и тогда, решающую роль сыграл известный расчет».

Это было для меня достаточно ясно даже и без ближайшего знакомства с обстоятельствазали ваши частные дела с текстом «Коринф-
«Каким образом вообще случилось, что вы связали ваши частные дела с текстом «Коринфской невесты»?. Быть может в вашем случае тоже имеются различия вероисповедного характера, как и в этом стихотворении?..».

«(Keimt ein Glaube neu,
Wirb oft Lieb unb Treu
Wie ein böses Unkraut ausgerauft» [1]).

---

[1]) „Где за веру спор,
Там как ветром сор,
И любовь и дружба сметены“. (Пер. Вейнберг).

Я не угадал; но интересно было видеть, как удачно поставленный вопрос сразу раскрыл глаза моему собеседнику и дал ему возможность сообщить мне в ответ такую вещь, которая до того времени наверное не приходила ему в голову. Он бросил на меня взгляд, из которого видно было, что его что-то мучит и что он недоволен, и пробормотал дальнейшее место стихотворения.

«Sieh‘ sie an genau!. [2]).

Morgen ist sie grau»—(«взгляни на нее! завтра она будет седой»), и добавил лаконически: Она несколько старше меня.

Чтобы не мучить его дольше, я прекратил расспросы. Объяснение казалось мне достаточным. Но удивительно, что попытка вскрыть основу ошибки памяти должна была затро-

---

[2]) Впрочем, мой коллега несколько видоизменил это прекрасное место стихотворения и по содержанию, и по смыслу, в котором он употребил его. У Гете девушка-приведение говорит своему жениху:

„Meine Locke hab‘ich Dir gegeben.
Deine Locke nehm‘ich mit mir fort.
Sieh‘sie an genau!
Morgen bist du grau,
Und nur braun erscheinst Du wieder dort“.
(„Мою прядь тебе дала я,
Прядь твою беру с собой,
Взгляни на нее
Завтра будешь ты сед,
Но лишь темноволосым явишься ты вновь туда“).

нуть столь отдаленные, интимные и связанные с мучительным аффектом обстоятельства.

Другой пример забвения части известного стихотворения я заимствую у C. G Jung'a [1]) и излагаю его словами автора:

«Один господин хочет продекламировать известное стихотворение: «На севере диком». На строке «и дремлет качаясь...» он безнадежно запинается; слова «и снегом сыпучим покрыта, как ризой, она» он совершенно позабыл. Это забвение столь известного стиха показалось мне странным, и я попросил его воспроизвести, что приходит ему в голову в связи с «снегом сыпучим покрыта как ризой» («mit weisser Decke»). Получился следующий ряд: «При словах о белой ризе я думаю о саване, которым покрывают покойников—(пауза)—теперь мне вспоминается мой близкий друг—его брат недавно скоропостижно умер, кажется, от удара—он был *тоже* полного телосложения, и я уже думал, что с ним может *то же* случиться—он, вероятно, делает слишком мало движения;—когда я услышал об этой смерти, я вдруг испугался, что и со мной может случиться *то же*, потому что у нас в семействе и так существует склонность

---

[1]) C. G. Jung. Uber die Psychlogie der Dementia praecox. 1907, S. 64.

к ожирению, и мой дедушка *тоже* умер от удара; я считаю себя *тоже* слишком полным и потому начал на этих днях курс лечения».

«Этот господин таким образом сразу же отождествил себя бессознательно с сосной, окутанной белым саваном»—замечает Юнг.

С тех пор я проделал множество анализов подобных же случаев позабывания или неправильной репродукции, и аналогичные результаты исследований склоняют меня к допущению, что обнаруженный в примерах «aliquis» и «Коринфская невеста» механизм распространяет свое действие почти на все случаи забывания. Обыкновенно сообщение таких анализов не особенно удобно, так как они затрагивают—как мы видели выше — весьма интимные и тягостные для данного субъекта вещи, и я ограничусь поэтому приведенными выше примерами. Общим для всех этих случаев, без различия материала, остается то, что позабытое или искаженное слово или словосочетание соединяется путем той или иной ассоциации с известным бессознательным представлением, от которого и исходит действие, выражающееся в форме забвения.

Я возвращаюсь опять к забыванию имен, которого мы еще не исчерпали ни со стороны его конкретных форм, ни со стороны мотивировки. Так как я имел в свое время случай наблюдать в изобилии на себе самом как

раз этот вид дефектной работы памяти, то примеров у меня имеется достаточно. Легкие мигрени, которыми я поныне страдаю, вызывают у меня, еще за несколько часов до своего появления—и этим они предупреждают меня о себе—забывание имен; а в разгар мигрени я, не теряя способности работать, сплошь да рядом забываю все собственные имена. Правда, как раз такого рода случаи могут дать повод к принципиальным возражениям против всех наших попыток в области анализа. Ибо не следует ли из таких наблюдений тот вывод, что причина забывчивости и специально позабывание собственных имен лежит в нарушении циркуляции и общем функциональном расстройстве большого мозга, и что поэтому всякие попытки психологического объяснения этих феноменов излишни? По моему мнению—ни в коем случае. Ибо это значило бы смешивать единообразный для всех случаев механизм процесса с благоприятствующими ему условиями—переменными и не необходимыми. Не вдаваясь в обстоятельный разбор, ограничусь для устранения этого довода одной лишь аналогией.

Допустим, что я был настолько неосторожен, чтобы совершить ночью прогулку по отдаленным пустынным улицам большого города; на меня напали и отняли часы и ко-

шелек. В ближайшем полицейском участке я сообщаю о случившемся в следующих выражениях: я был на такой-то улице, и там *одиночество* и *темнота* отняли у меня часы и кошелек. Хотя этими словами я и не выразил ничего такого, что не соответствовало бы истине, все же весьма вероятно, что меня приняли бы за человека, находящегося не в своем уме. Чтобы правильно изложить обстоятельства дела, я должен был бы сказать, что, *пользуясь* уединенностью места и под *покрытием* темноты, *неизвестные люди* ограбили меня. Я и полагаю, что при забывании имен положение дела то же самое: благоприятствуемая усталостью, расстройством циркуляций, интоксикацией, неизвестная психическая сила понижает у меня способность располагать имеющимися в моих воспоминаниях собственными именами,—та же самая сила, которая в других случаях может совершить это же обессиление памяти и при полном здоровьи и свежести.

Анализируя наблюдаемые на себе самом случаи позабывания имен, я почти регулярно нахожу, что недостающее имя имеет то или иное отношение к какой-либо теме, близко касающейся меня лично и способной вызвать во мне сильные, нередко мучительные аффекты. В согласии с весьма целесообразной практикой цюрихской школы (Bleuler,

Jung, Riklin) я могу это выразить в такой форме: ускользнувшее из моей памяти имя затронуло во мне «личный комплекс». Отношение этого имени к моей личности бывает неожиданным, часто устанавливается путем поверхностной ассоциации (двусмысленное слово, созвучие); его можно вообще обозначить, как стороннее отношение. Несколько простых примеров лучше всего выяснят его природу.

а) Пациент просит меня рекомендовать ему какой-либо курорт на Ривьере. Я знаю одно такое место в ближайшем соседстве с Генуей, помню фамилию немецкого врача, практикующего там, но самой местности назвать не могу, хотя, казалось бы, знаю ее прекрасно. Приходится попросить пациента обождать; спешу к моим домашним и спрашиваю наших дам: «Как называется эта местность близ Генуи там, где лечебница д-ра N, в которой так долго лечилась такая-то дама?» —«Разумеется, как раз ты должен был забыть это название.—Нерви». И в самом деле с *нервами* мне приходится иметь достаточно дела.

б) Другой пациент говорит о близлежащей дачной местности и утверждает, что кроме двух известных ресторанов там есть еще и третий, с которым у него связано известное воспоминание: название он мне скажет сей-

час. Я отрицаю существование третьего ресторана и ссылаюсь на то, что семь летних сезонов под-ряд жил в этой местности и, стало быть, знаю ее лучше, чем мой собеседник. Раздраженный противоречием, он, однако, уже вспомнил название; ресторан называется Hochwarner. Мне приходится уступить и признаться к тому же, что все эти семь лет я жил в непосредственном соседстве с этим самым рестораном, существование которого я отрицал. Почему я позабыл в данном случае и название и самый факт? Я думаю, потому, что это название слишком отчетливо напоминает мне фамилию одного венского коллеги и затрагивает во мне опять-таки «профессиональный комплекс».

в) Однажды на вокзале в Рейхенгалле я собираюсь взять билет и не могу вспомнить, как называется прекрасно известная мне ближайшая большая станция, чрез которую я так часто проезжал. Приходится самым серьезным образом искать ее в расписании поездов. Станция называется Rosenheim. Тотчас же я соображаю, в силу какой ассоциации название это у меня ускользнуло. Часом раньше я посетил свою сестру, живщую близ Рейхенгалля; имя сестры *Роза*, стало быть, это тоже был «Rosenheim» («жилище Розы»). Название было у меня похищено «семейным комплексом».

г) Прямо-таки грабительское действие семейного комплекса я могу проследить еще на целом ряде примеров.

Однажды пришел ко мне молодой человек, младший брат одной моей пациентки; я видел его бесчисленное множество раз и привык, говоря о нем, называть его по имени. Когда я затем захотел рассказать о его посещении, оказалось, что я позабыл его имя— вполне обыкновенное, это я знал—и не мог ни за что восстановить его в своей памяти. Тогда я пошел на улицу читать вывески, и как только его имя встретилось мне, я с первого же раза узнал его. Анализ показал мне, что я провел параллель между этим посетителем и моим собственным братом, параллель, которая вела к вытесненному вопросу: сделал ли бы мой брат в подобном случае то же, или же поступил бы как раз наоборот. Внешняя связь между мыслями о чужой и моей семье установилась благодаря той случайности, что и здесь и там имя матери было одно и то же—Амалия. Я понял затем и подставные имени, которые навязались мне, не выясняя дела: Даниил и Франц. Эти имена—так же как и имя Амалии—встречаются в шиллеровских «Разбойниках», с которыми связывается шутка венского фланера Daniel Spitzer'a.

д) В другой раз я не могу припомнить имени моего пациента, с которым я знаком еще с юных лет. Анализ пришлось вести длинным обходным путем, прежде чем, удалось получить искомое имя. Пациент сказал раз, что боится потерять зрение; это вызвало во мне воспоминание об одном молодом человеке, который ослеп вследствие поранения выстрелом; с этим соединилось в свою очередь представление о другом молодом человеке, который стрелял в себя—фамилия его та же, что и первого пациента, хотя они не были в родстве. Но нашел я искомое имя лишь тогда, когда установил, что мои опасения были перенесены с этих двух юношей на человека, принадлежащего к моему семейству.

Непрерывный ток «самоотношения» (Eigenbezehung) идет, таким образом, через мое мышление, ток, о котором я обычно ничего не знаю, но который дает о себе знать подобного рода забыванием имен. Я словно принужден сравнивать все, что слышу о других людях, с собой самим; словно при всяком известии о других приходят в действие мои личные комплексы. Это ни в коем случае не может быть моей индивидуальной особенностью; в этом заключается скорее общее указание на то, каким образом, мы вообще понимаем «других». Я имею основание пола-

гать, что у других людей происходит совершенно то же, что и у меня. Лучший пример в этой области сообщил мне некий господин Ледерер из своих личных переживаний. Во время своего свадебного путешествия он встретился в Венеции с одним мало-знакомым господином и хотел его представить своей жене. Фамилию его он позабыл, и на первый раз пришлось ограничиться неразборчивым бормотанием. Встретившись с этим господином вторично (в Венеции это неизбежно) он отвел его в сторону и рассказал, что забыл его фамилию и попросил вывести его из неловкого положения и назвать себя. Ответ собеседника свидетельствовал о прекрасном знании людей: Охотно верю, что вы не запомнили моей фамилии. Я зовусь так же, как вы: Ледерер!—Нельзя отделаться от довольно неприятного ощущения, когда встречаешь чужого человека, носящего твою фамилию. Я недавно почувствовал это с достаточной отчетливостью, когда на прием ко мне явился некий S. Freud. Впрочем, один из моих критиков уверяет, что он в подобных случаях испытывает как раз обратное.

e) Действие «самоотношения» обнаруживается также в следующем примере, сообщенном *Юнгом* *).

---

[1]) Dementia praecox, стр. 52.

«Y безнадежно влюбился в одну даму, вскоре затем вышедшую замуж за X. Несмотря на то, что Y издавна знает X и даже находится с ним в деловых сношениях, он все же постоянно забывает его фамилию, так что не раз случалось, что когда надо было написать X письмо, ему приходилось справляться о его фамилии у других».

Впрочем, в этом случае забвение мотивируется прозрачнее, нежели в предыдущих примерах «самоотношения». Забывание представляется здесь прямым результатом нерасположения г. Y к своему счастливому сопернику; он не хочет о нем знать; «думать о нем не хочу».

ж) Иначе и тоньше мотивируется забвение имени в другом примере, разъясненном самим же действующим лицом.

«На экзамене по философии (которую я сдавал в качестве одного из побочных предметов) экзаменатор задал мне вопрос об учении Эпикура и затем спросил, не знаю ли я, кто был возобновителем его учения в позднейшее время. Я назвал Пьера Гассенди—имя, которое я слышал как раз двумя днями раньше в кафэ, где о нем говорили, как об ученике Эпикура. На вопрос удивленного экзаменатора, откуда я это знаю, я смело ответил, что давно интересуюсь Гассенди. Результатом этого была высшая отметка в ди-

пломе, но, вместе с тем, и упорная склонность забывать имя Гассенди. Думаю, что это моя нечистая совесть виной тому, что несмотря на все усилия я теперь ни за что не могу удержать это имя в памяти. Я и тогда не должен был его знать».

Чтобы получить правильное представление о той интенсивности, с какой данное лицо отклоняет от себя воспоминание об этом экзаменационном эпизоде, надо знать, как высоко оно ценит докторский диплом, и сколь многое он должен ему заменить собой.

Я мог бы еще умножить число примеров забывания имен и пойти значительно дальше в их разборе, если бы мне не пришлось для этого уже здесь изложить едва ли не все те общие соображения, которые относятся к дальнейшим темам; а этого я хотел бы избежать. Позволю себе все же в нескольких положениях подвести итоги выводам, вытекающим из сообщенных выше анализов.

Механизм забывания имен (точнее: ускользания, временного забвения) состоит в расстройстве предположенного воспроизведения имени посторонним и в данный момент несознаваемым рядом мыслей.

Между именем, терпящим таким образом, помеху, и комплексом, создающим эту помеху, существует либо с самого же начала известная связь, либо эта связь устана-

вливается часто путем искусственных на вид комбинаций при помощи поверхностных (внешних) ассоциаций.

Среди расстраивающих комплексов наибольшую силу обнаруживают комплексы «самоотношения» (личные, семейные, профессиональные).

Имя, которое, имея несколько значений, принадлежит в силу этого к нескольким кругам мыслей (комплексов), нередко, будучи в связи одного ряда мыслей, подвергается расстройству в силу принадлежности к другому, более сильному комплексу.

Среди мотивов подобного расстройства ясно видно намерение избежать то неприятное, что вызывается данным воспоминанием.

В общем можно различить два основных вида забывания имен: когда данное имя само затрагивает что-либо неприятное, или же оно связывается с другим, могущим оказать подобное действие; так что расстройство репродукции какого-либо имени может обусловливаться либо самим же этим именем, либо его ассоциациями—близкими и отдаленными.

Из этих общих положений мы можем понять, что в ряду случаев дефектного функционирования временное забывание имен чаще всего.

Мы отметим, однако, далеко не все особенности этого феномена. Хочу указать еще,

что забывание имен в высокой степени заразительно. В разговоре между двумя людьми иной раз достаточно одному сказать, что он забыл то или иное имя, чтобы его позабыл и второй собеседник. Однако там, где имя позабыто под такого рода индуцирующим влиянием, оно легко восстановляется.

Наблюдаются также и случаи, когда из памяти ускользает целая цепь имен. Чтобы найти забытое имя, хватаешься за другое, находящееся в тесной связи с первым, и нередко это второе имя, к которому обращаешься как к опорной точке, ускользает тогда в свою очередь. Забвение перескакивает таким образом с одного имени на другое, как бы для того, чтобы доказать наличность труднопреодолимого препятствия.

IV.

О воспоминаниях детства и воспоминаниях, служащих прикрытием.

В другой статье (опубликованной в Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie за 1899 г.) я имел возможность проследить тенденциозность наших воспоминаний в совершенно неожиданной сфере. Я исходил из того поразительного факта, что в самых ранних воспоминаниях детства обыкновенно сохраняются безразличные и второстепенные вещи, в то время как важные, богатые аффектами впечатления того времени не оставляют (не всегда, конечно, но очень часто!) в памяти взрослых никакого следа. Так как известно, что память производит известный выбор среди тех впечатлений, которыми она располагает, то следовало бы предположить, что этот выбор следует в детском возрасте совершенно иным принципам, нежели в пору интеллектуальной зрелости.

Однако тщательное исследование показывает, что такое предположение является излиш-

ним. Безразличные воспоминания детства обязаны своим существованием известному сдвиганию, они замещают в репродукции другие, действительно верные впечатления, воспоминания о которых можно развить из них путем психического анализа, но которые не могут быть воспроизведены непосредственно из-за сопротивления, которое они встречают. Так как они обязаны своим сохранением не своему собственному содержанию, а ассоциативной связи этого содержания с другими— вытесненными,—то их можно с полным основанием назвать «воспоминаниями прикрывающими». («Deckerinnerungen»).

В указанной статье я только наметил, но отнюдь не исчерпал всего разнообразия отношений и значений этих «воспоминаний-прикрытий». В одном подробно проанализированном там примере я показал и подчеркнул обыкновенный характер отношений во *времени* между прикрывающим воспоминанием и прикрытым содержанием. Дело в том, что содержание прикрывающего воспоминания относилось там к самому раннему детству, в то время как те интеллектуальные переживания, которые данное воспоминание заступало в памяти и которые остались почти всецело несознанными, имели место в более позднее время. Я назвал этот вид сдвигания *возвратным, идущим назад*. Быть может еще чаще

наблюдается обратное отношение, когда в памяти закрепляется в качестве прикрытия какое-либо безразличное впечатление недавнего времени, при чем этим отличием оно обязано лишь своей связи с каким-либо прежним переживанием, не могущим из-за противодействия быть воспроизведенным непосредственно. Такие воспоминания-прикрытия я назвал бы *предваряющими, забегающими вперед*. То существенное, что тревожит память, лежит здесь по времени *позади* прикрывающего воспоминания. Наконец, возможен—и встречается на деле—и третий случай, когда прикрывающее воспоминание связано с покрытым им впечатлением не только по своему содержанию, но и в силу смежности во времени,—это будут воспоминания *одновременные* или *примыкающие*.

Как велика та часть нашего запаса воспоминаний, которая относится к категории воспоминаний прикрывающих, и какую роль они играют во всякого рода невротических интеллектуальных процессах,—это проблемы, в рассмотрение которых я не вдавался там, не буду вдаваться и здесь. Мне важно только подчеркнуть, что забывание собственных имен с ошибочными припоминаниями и образование воспоминаний-прикрытий—процессы однородные.

На первый взгляд различия между этими двумя феноменами несравненно больше бро-

саются в глаза, нежели сходство. Там дело идет о собственных именах, здесь—о цельных впечатлениях, о чем-то пережитом в действительности ли или мысленно; в первом случае—память явно отказывается служить, здесь же—совершает кажущуюся нам странной работу; там—минутное расстройство (ибо забытое нами только что имя могло воспроизводиться нами до того сотни раз правильно и завтра будет воспроизводиться вновь), здесь—длительное, беспрерывное обладание, ибо безразличные воспоминания детства, повидимому, способны сопутствовать нам на протяжении долгого периода жизни. Загадки, стоящие перед нами в обоих этих случаях, повидимому, совершенно различны. Там нашу научную любознательность возбуждает забвение, здесь—сохранение в памяти. Более глубокое исследование показывает, однако, что, несмотря на различие психического материала и разницу в длительности явления, точки схождения все же далеко преобладают. И здесь, и там дело идет о дефекте в ходе припоминания; воспроизводится не то, что должно было быть воспроизведено, а нечто иное, в замену его. В случае забывания имен тоже имеется налицо известное действие памяти в форме подставных имен. Феномен прикрывающих воспоминаний в свою очередь тоже основывается на забывании других, существенных впечатлений. В

обоих случаях известное интеллектуальное ощущение дает нам знать о вмешательстве некоего препятствия; но только это происходит в иной форме. При забывании имен мы *знаем*, что подставные имена *неверны*; при покрывающих воспоминаниях мы *удивляемся* тому, что они еще у нас вообще сохранились. И если затем психологический анализ показывает, что в обоих случаях замещающие образования сложились одинаковым образом— путем сдвигания вдоль звеньев какой-либо поверхностной ассоциации, то именно различия в материале, в длительности и в центрировании обоих феноменов заставляют нас в еще большей степени ожидать, что мы нашли нечто существенно важное и имеющее общее значение. Это общее положение гласило бы, что приостановка и дефектный ход репродуцирующей функции указывают нам гораздо чаще, нежели мы предполагаем, на вмешательство пристрастного фактора, на *тенденцию*, благоприятсвующую одному воспоминанию и стремящуюся поставить преграду другому.

Вопрос о воспоминаниях детства представляется мне настолько важным и интересным, что я хотел бы посвятить ему несколько замечаний, которые поведут нас за пределы сказанного выше.

Как далеко вглубь детства простираются наши воспоминания? Мне известно нескол-

ко исследований по этому вопросу, в том числе работы V. и C. Henri[1]) и Potwin'a [2]); из них видно существование значительных индивидуальных различий; некоторые из подвергавшихся наблюдениям относят свои первые воспоминания к 6-му месяцу жизни, в то время как другие ничего не помнят из своей жизни до конца 6-го и даже 8-го года. С чем же связаны эти различия в воспоминаниях детства и какое значение они имеют? Очевидно, что для решения этого вопроса мало добыть материал коллекционирования справок; необходима обработка его, в которой должно участвовать то лицо, от коего данные сообщения исходят.

На мой взгляд, мы слишком равнодушно относимся к фактам младенческой амнезии— утрате воспоминаний о первых годах нашей жизни,—и благодаря этому проходим мимо своеобразной загадки. Мы забываем о том, какого высокого уровня интеллектуального развития достигает ребенок уже на четвертом году жизни, на какие сложные эмоции он способен; мы должны были бы поразиться, как мало сохраняется обычно из этих душевных событий в памяти в позднейшие годы; тем более, что мы имеем все основания предпола-

[1]) Enquête sur les premiers souvenirs de l'enfance. L'année psychologique III 1897.

[2]) Study of early memories. Psycholog. Reveiw 1901.

гать, что эти забытые переживания детства отнюдь не проскользнули бесследно в развитии данного лица; напротив, они оказали влияние, оставшееся решающим на все времена. И вот, несмотря на это несравненное влияние, они забываются! Это свидетельствует о совершенно своеобразных условиях припоминания (в смысле сознательной репродукции), до сих пор ускользавших от нашего познания. Весьма возможно, что именно позабывание детских переживаний и даст нам ключ к пониманию тех амнезий, которые, как показывают новейшие данные, лежат в основе образования всех невротических симптомов.

Среди сохранившихся воспоминаний детства некоторые представляются нам вполне понятными, другие—странными или непонятными. Нетрудно исправить некоторые ошибки по отношению к этим обоим видам. Стоит подвергнуть уцелевшие воспоминания какого-либо лица аналитическому испытанию и нетрудно установить, что поручиться за их правильность невозможно. Некоторые воспоминания искажены, неполны, либо передвинуты во времени или в пространстве. Сообщения опрашиваемых лиц о том, например, что их первые воспоминания относятся, скажем, ко второму году жизни, явно недостоверны. Скоро удастся найти те мотивы, которые объясняют нам искажение и сдвигание пережитого, и которые

вместе с тем доказывают, что причиной этих ошибок является не простая погрешность памяти. Могучие силы позднейшей жизни оказали свое воздействие на способность припоминать переживания детства, вероятно, те же силы, благодаря которым мы вообще так чужды пониманию этих детских лет.

Процесс припоминания у взрослых оперирует, как известно, различного рода психическим материалом. Одни вспоминают в форме зрительных образов, их воспоминания носят зрительный характер; другие способны воспроизвести в памяти разве лишь самые скудные очертания пережитого; их называют—по терминологии *Шарко*—«auditifs» и «moteurs» в противоположность «visuels». Во сне эти различия исчезают; сны снятся нам всем по преимуществу в форме зрительных образов. Но то же самое происходит и по отношению к воспоминаниям детства; они носят пластический зрительный характер даже у тех людей, чьи позднейшие воспоминания лишены зрительного элемента. Зрительное воспоминание сохраняет таким образом тип воспоминания младенческого. У меня лично единственные зрительные воспоминания, это—воспоминания самого раннего детства: прямо-таки пластически выпуклые сцены, сравнимые лишь с театральными представлениями. В этих сценах из детских лет, верны ли они или искажены,

обычно и сам фигурируешь со своим детским обликом и платьем. Это обстоятельство представляется весьма странным; взрослые люди с зрительной памятью не видят самих себя в воспоминаниях о позднейших событиях[1]). Предположение, что ребенок, переживая что-либо, сосредоточивает внимание на себе и не направляет его исключительно на внешние впечатления,—шло бы вразрез со всем тем, что мы знаем на этот счет.

Таким образом самые различные соображения заставляют нас предполагать, что так называемые ранние детские воспоминания представляют собой не настоящий след давнишних впечатлений, а его позднейшую обработку, подвергшуюся воздействию различных психических сил более позднего времени. «Детские воспоминания» индивидов приобретают—как общее правило—значение «воспоминаний покрывающих» и приобретают при этом замечательную аналогию с воспоминаниями детства народов, закрепленными в сказаниях и мифах.

Кто подвергал исследованию по методу психического анализа целый ряд лиц, тот накопляет в результате этой работы богатый запас примеров «покрывающих воспоминаний» всякого рода. Однако сообщение этих примеров в высшей степени затрудняется ука-

---

[1]) Утверждаю это на основании некоторых справок, собранных мною.

занным выше характером отношений, существующих между воспоминаниями детства и позднейшей жизнью; чтобы уяснить значение того или иного воспоминания детства в качестве воспоминания покрывающего, нужно было бы нередко изобразить всю позднейшую жизнь данного лица. Лишь редко бывает возможно, как в следующем прекрасном примере, выделить из общей связи одно отдельное воспоминание.

Молодой человек 24 лет сохранил следующий образ из 5-го года своей жизни. Он сидит в саду дачного дома на своем стульчике рядом с теткой, старающейся научить его, распознавать буквы.

Различие между m и n не дается ему, и он просит тетку объяснить ему, чем отличаются эти буквы одна от другой. Тетка обращает его внимание на то, что у буквы m целой частью больше, чем у n — лишняя третья черточка.—Не было никакого основания сомневаться в достоверности этого воспоминания; но свое значение оно приобрело лишь впоследствии, когда обнаружилось, что оно способно взять на себя символическое представительство иного рода любознательности мальчика. Ибо, подобно тому, как ему тогда хотелось узнать разницу между буквами m и n, так впоследствии он старался узнать разницу между мальчиком и девочкой, и наверно согласился

бы, чтобы его учительницей была именно эта тетка. И действительно он нашел, что разница несколько аналогична, что у мальчика тоже одной частью больше, чем у девочки, и к тому времени, когда он узнал это, у него и пробудилось воспоминание о соответствующем детском вопросе.

На одном только примере я хотел бы показать, какой смысл может получить, благодаря аналогичной обработке детское воспоминание, до того не имевшее, казалось бы, никакого смысла. Когда я на 43 году жизни начал уделять внимание остаткам воспоминаний моего детства, мне вспомнилась сцена, которая давно уже (мне казалась—с самых ранних лет) от времени до времени приходила мне на мысль и которую надо было отнести, на основании достаточных признаков, к исходу третьего года моей жизни. Мне виделось, как я стою, плача и требуя чего-то, перед ящиком, дверцу которого держал открытой мой старший (на 20 лет) сводный брат; затем, вдруг, вошла в комнату моя мать, красивая, стройная, как бы возвращаясь с улицы.

Этими словами я выразил виденную мною пластическую сцену, о которой я больше ничего не мог бы сказать. Собирался ли брат открыть или закрыть ящик (когда я первый раз сформулировал это воспоминание, я употребил слово «шкаф»), почему я при этом пла-

кал, какое отношение имел к этому приход матери,—все это было для меня темно; я склонен был объяснить эту сцену тем, что старший брат чем-нибудь дразнил меня, и это было прервано приходом матери.

Такие недоразумения в сохранившейся в памяти сцене из детства не редки: помнишь ситуацию, но в ней нет надлежащего центра: не знаешь, на какой из ее элементов должно пасть психическое ударение. Аналитический разбор вскрыл предо мной совершенно неожиданный смысл картины. Я не находил матери, ощутил подозрение, что она заперта в этом ящике или шкафу, и потому потребовал от брата, чтобы он открыл его. Когда он это сделал, и я убедился, что матери в ящике нет, я начал кричать; это тот момент, который закреплен в воспоминании и за которым последовало успокоившее мою тревогу или тоску появление матери. Но каким образом пришла ребенку мысль искать мать в ящике? Снившиеся мне в то же время сны смутно напоминали мне о няньке, о которой у меня сохранились еще и другие воспоминания, о том, например, как она неукоснительно требовала, чтобы я отдавал ей мелкие деньги, которые я получал в подарок,—деталь, которая в свою очередь может претендовать на роль воспоминания, «прикрывающего» нечто позднейшее. Я решил облегчить себе на этот

раз задачу истолкования и расспросить мою мать—теперь уже старуху—об этой няньке. Я узнал многое, в том числе, что она, умная, но нечестная особа, во время родов моей матери совершила у нас в доме большие покражи и по настоянию моего брата была предана суду. Это указание выяснило мне сразу, словно каким-то озарением, смысл рассказанной выше сцены. Внезапное исчезновение няньки не было для меня безразличным; я обратился как раз к этому брату с вопросом о том, где она, вероятно заметив, что в ее исчезновении он сыграл какую-то роль; он ответил мне уклончиво, играя словами, как это он любит делать и сейчас: «ее заперли в ящик». Ответ этот я понял по детски, буквально, но прекратил расспросы, потому что ничего больше добиться не мог. Когда немного времени спустя, я хватился матери, и ее не было, я заподозрил брата в том, что он сделал с ней то же, что и с нянькой, и заставил его открыть мне ящик. Я понимаю теперь, почему в передаче этого зрительного воспоминания детства подчеркнута худоба матери: мне должен был броситься в глаза ее вид только что выздоровевшего человека. Я $2\frac{1}{2}$ годами старше родившейся тогда сестры, а когда я достиг трехлетнего возраста, прекратилась наша совместная жизнь со сводным братом.

V.

Обмолвки.

Если обычный материал нашей разговорной речи на родном языке представляется огражденным от забывания, то, тем более, подвержен он другому расстройству, известному под названием «обмолвок». Явление это, наблюдаемое у здорового человека, производит впечатление подготовительной ступени для так наз. «парафазии», наступающей уже при патологических условиях.

В данном случае я имею возможность в виде исключения пользоваться (и воздать должное) подготовительной работой: в 1895 году Meringer и C. Mayer опубликовали работу под заглавием: «Versprechen und Verlesen» («Обмолвки и ошибки в чтении»); точка зрения, с которой они разбирают вопрос, выходит за пределы моего рассмотрения. Ибо один из авторов, от имени которого и ведется изложение,— языковед и взялся за исследование с точки зрения лингвиста, желая найти правила, по которым совершаются обмолвки. Он надеялся,

что на основании этих правил можно будет заключить о существовании «известного духовного механизма», «в котором звуки одного слова, одного предложения и даже отдельные слова связаны и сплетены между собою совершенно особенным образом».

Автор группирует собранные ими примеры «обмолвок» сперва с точки зрения чисто описательной, разделяя их на: случаи *обмена* (напр.: Milo von Venus вместо Venus von Milo); *предвосхищения* или *антиципации* (напр.: es war mir auf der Schwest... auf der Brust so schwer); *отзвуки* или *постпозиции* (напр.: «Ich fordere Sie auf, auf das Wohl unseres Chefs aufzustossen вместо anzustossen»); *контаминации* («Er setzt sich auf den Hinterkopf» составленное из «Er setzt sich einen Kopf auf» и «Er stellt sich auf die Hinterbeine»); *подстановки* («Ich gebe die Präparate in den Briefkasten» вместо «Brütkasten»); к этим главным категориям надо добавить еще некоторые, менее существенные или менее важные для наших целей. Для этой группировки безразлично, подвергаются ли перестановке, искажению, слиянию и т. п. отдельные звуки слова, слоги или целые слова задуманной фразы.

Для объяснения наблюдавшихся им обмолвок Мерингер устанавливает различие психической интенсивности произносимых звуков. Когда мы иннервируем первый звук слова,

первое слово фразы, тогда процесс возбуждения уже обращается к следующим звукам и следующим словам, и поскольку эти иннервации совпадают по времени, они могут взаимно влиять и видоизменять одна другую. Возбуждение более интенсивного психически звука предваряет прочие или, напротив, отзывается впоследствии, и расстраивает, таким образом, более слабый иннервационный процесс. Вопрос сводится лишь к тому, чтобы установить, какие именно звуки являются в том или ином слове наиболее интенсивными. Мерингер говорит по этому поводу: «Для того, чтобы установить, какой из звуков, составляющих слово, обладает наибольшей интенсивностью, достаточно наблюдать свои собственные переживания при отыскивании какого-либо забытого слова, скажем—имени. То, что воскресает в памяти, прежде всего, обладало во всяком случае, наибольшей интенсивностью до утраты» (стр. 160). «Высокой интенсивностью отличаются, таким образом, начальный звук коренного слова и начальный звук слова и, наконец, та или те гласные, на которых находится ударение.

Я не могу здесь воздержаться от одного возражения. Принадлежит ли начальный звук имени к наиболее интенсивным элементам слова или нет, во всяком случае, неверно, что в случаях забывания слов он восстано-

вляется в сознании первым; указанное выше правило, таким образом, неприменимо. Когда наблюдаешь себя в поисках за позабытым именем, довольно часто случается выразить уверенность, что это имя начинается с такой-то буквы. Уверенность эта оказывается ошибочной столь же часто, как и основательной. Я решился бы даже утверждать, что в большинстве случаев буква указывается неправильно. В нашем примере с Синьорелли начальный звук и существенные слоги исчезли в подставных именах; и в имениБотичелли воскресли в сознании как раз менее существенные слоги «elli». Как мало считаются подставные имена с начальным звуком исчезнувшего имени, может показать хотя следующий пример. Как-то раз я тщетно старался вспомнить название той маленькой страны, где столица—*Монте-Карло*. Подставные имена гласили: *Пьемонт*, *Албания*, *Монтевидео*, *Колико*.

Албания была скоро заменена Черногорией (Montenegro), и тогда мне бросилось в глаза, что слог *монт* (читается *мон*) имеется во всех подставных именах, кроме одного лишь последнего. Это облегчило мне задачу, отправляясь от имени князя Альберта найти забытое *Монако*. *Колико* приблизительно воспроизводит последовательность слогов и ритм забытого слова.

Если допустить, что психический механизм, подобный тому, какой мы показали в случаях забывания имен, играет роль и в случаях обмолвок, то мы будем на пути к более глубокому пониманию этого последнего явления.

Расстройство речи, обнаруживающееся в форме обмолвки, может быть вызвано, во-первых, влиянием другой составной части той же речи—предвосхищением того, что следует впереди, или отзвуков сказанного,—или другой формулировкой в пределах той же фразы или той же мысли, которую собираешься высказать; сюда относятся все заимствованные у Мерингера и Майера примеры; но расстройство может произойти и путем, аналогичным тому процессу, какой наблюдается в примере Синьорелли: в силу влияний, посторонних данному слову, предложению данной связи, влияний, идущих от элементов, которые высказывать не предполагалось, и о возбуждении которых узнаешь только по вызванному ими расстройству. Одновременность возбуждения—вот то общее, что объединяет оба вида обмолвок, нахождение внутри или вне данного предложения или данной связи составляет пункт расхождения. На первый взгляд различие представляется не столь большим, каким она оказывается затем с точки зрения некоторых выводов из симптоматологии дан-

ного явления. Но совершенно ясно, что лишь в первом случае есть надежда на то, чтобы из феномена обмолвок можно было сделать выводы о существовании механизма, связывающего отдельные звуки и слова так, что они взаимно влияют на способ их произношения, т.-е. выводы, на которые рассчитывал при изучении обмолвок лингвист. В случаях расстройства, вызванного влияниями, стоящими вне данной фразы или связи речи, необходимо было бы, прежде всего, найти расстраивающие элементы, а затем встал бы вопрос, не может ли механизм этого расстройства также обнаружить предлагаемые законы образования речи.

Нельзя сказать, чтобы Мерингер и Майер не заметили возможности расстройства речи силою «сложных психических влияний», элементами, находящимися вне данного слова, предложения или связи речи. Они не могли не заметить, что теория психической неравноценности звуков, строго говоря, может удовлетворительно объяснить лишь случаи нарушения отдельных звуков, равно как «предвосхищения» и «отзвуки». Там, где расстройство не ограничивается отдельными звуками, а простирается на целые слова, как это бывает при «подстановках» и «контаминациях» слов, там и они, не колеблясь, искали причину обмолвок *вне* задуманной связи речи и подтвер-

дили это прекрасными примерами. Приведу следующие места.

(Стр. 62) «Р. рассказывает о вещах, которые он в глубине души считает свинством (Schweinerei). Он старается, однако, найти мягкую форму выражения и начинает: «Dann aber sind Thetsachen zum Vorschwein gekommen[1])». Мы с Майером были при этом и Р. подтвердил, что он думал Schweinereien» (свинство). То обстоятельство, что слово, о котором он подумал, выдало себя и вдруг прорвалось при произнесении Vorschein, достаточно объясняется сходством обоих слов».

(Стр. 73). «При «подстановках» так же как и при контаминациях, но только, вероятно, в гораздо большей степени играют важную роль «летучие» или «блуждающие» словесные образы. Если они и находятся за порогом сознания, то все же в действенной близости к нему, могут с легкостью вызываться каким-либо сходством комплекса, подлежащего высказыванию, и тогда порождают «схождение с рельсов» или врезываются в связь речи. «Летучие» или «блуждающие» словесные образы часто являются, как уже сказано, запоздалыми

---

[1]) Непереводимая игра слов: вместо „zum Vorschein gekommen“, что значит „обнаружились“ слог „schein“ заменен словом „schwein“—свинья.
Прим. перев.

спутниками недавно протекших словесных процессов (отзвуки)».

(Стр. 97). «Схождение с рельсов» возможно также и благодаря сходству: когда другое, схожее слово лежит близко к порогу сознания, *но не предназначается к произнесению.* Это бывает при подстановках.—Я надеюсь, что при проверке мои правила должны будут подтвердиться. Но для этого необходимо (если наблюдение производится над другим человеком), *уяснить себе все, что только передумал говорящий* *)*. Приведу поучительный пример. Директор училища Л. сказал в нашем обществе: «Die Frau würde mir Furcht einlagen» **). Я удивился, так как показалось мне здесь непонятным. Я позволил себе обратить внимание говорившего на его ошибку: «einlagen» вместо «einjagen», на что он тотчас же ответил: «Да, это произошло потому, что я думал: «ich wäre nicht in der Lage» и т. д. ***).

«Другой случай. Я спрашиваю Р. ф. Ш., в каком положении его больная лошадь. Он отвечает: «Ja, das draut... dauert vielleicht noch einen Monat ****)». Откуда взялось «draut»

---

[1]) Курсив мой.

[2]) Вместо: „Die Frau würde mir Furcht einjagen, (Эта женщина внушила бы мне страх"). *Прим. перев.*

[3]) „Я не был бы в состоянии".

[4]) „Да, это будет *тянуться,* быть может, еще месяц".

с его r для меня было непонятно, ибо звук r из dauert не мог оказать такого действия. Я обратил на это внимание Р. ф. Ш., и он объяснил, что думал при этом: «es ist eine traurige Geschichte» *). Говоривший имел, таким образом, в виду два ответа и они смешались воедино».

Нельзя не заметить, как близко подходит к условиям наших анализов и то обстоятельство, что принимаются в расчет «блуждающие» словесные образы, лежащие за порогом сознания и не предназначенные к произношению, и предписание осведомляться обо всем том, что думал говорящий. Мы тоже отыскиваем бессознательный материал и делаем это тем же путем, с той лишь разницей, что путь, которым мы идем от того, что приходит в голову опрашиваемого, к отысканию расстраивающегося элемента,—более длинный и ведет через комплексный ряд ассоциаций.

Остановлюсь еще на другом интересном обстоятельстве, о котором свидетельствуют примеры, приведенные у Мерингера. По мнению самого автора, сходство какого-либо слова в задуманном предложении с другим, не предполагавшимся к произнесению, дает этому последнему возможность путем искажения, сме-

[1]) „Это *печальная* история“.

шения, компромисса (контаминации) дойти до сознания данного субъекта.

Lagen, Vorschein dauert,
jogen... schwein freurig.

В моей книге «О толковании снов»[1]) я показал, какую роль играет процесс *«сгущения»* в образовании так называемого явного содержания сна из скрытых (latent) мыслей его. Какое-либо сходство вещественное или словесное между двумя элементами бессознательного материала служит поводом для создания третьего—смешанного или компромиссного представления, которое в содержании сна представляет оба слагаемых и которое в виду этого своего происхождения и отличается так часто противоречивостью отдельных своих черт.

Образование подстановок и контаминаций при обмолвках и есть, таким образом, начало той «сгустительной» работы, которую мы находим в полном ходу при построении сна.

В небольшой статье, предназначенной для широкого круга читателей (Neue Freie Presse 23 авг. 1900) Мерингер устанавливает особое практическое значение за некоторыми случаями обмолвок,—теми именно, когда какое-либо слово заменяется противоположным ему по смыслу.

---

[1]) „Die Ttaumdeutung“. Leipzig und Wien, 1900.

«Вероятно, все помнят еще, как несколько времени тому назад председатель австрийской палаты депутатов *открыл* заседание словами: «Уважаемое собрание. Я констатирую наличность стольких-то депутатов и объявляю заседание *закрытым*». Общий смех обратил его внимание на ошибку, и он исправил ее. В данном случае это можно скорее всего объяснить тем, что председателю хотелось иметь уже возможность действительно закрыть заседание, от которого можно было ожидать мало хорошего; эта сторонняя мысль — что бывает часто—прорвалась хотя бы частично, и в результате получилось «закрытый» вместо «открытый»—прямая противоположность тому, что предполагалось сказать. Впрочем, многочисленные наблюдения показали мне, что противоположные слова вообще очень часто подставляются одно вместо другого; они вообще тесно сплетены друг с другом в нашем сознании, лежат в непосредственном соседстве одно с другим и легко произносятся по ошибке».

Не во всех случаях обмолвок по контрасту так легко показать, как в примере с председателем, вероятность того, что обмолвка произошла вследствие своего рода протеста, который заявляется в глубине души против высказывавшего предложения. Аналогичный механизм мы нашли, анализируя пример: ali-

quis; там внутреннее противодействие выразилось в забвении слова — вместо замены его противоположным. Для устранения этого различия заметим, однако, что словечко aliquis не обладает таким антиподом, каким являются по отношению друг к другу слова «закрывать» и «открывать», и далее, что слово «открывать», как весьма общеупотребительное, не может быть позабыто.

Если последние примеры Мерингера и Майера показывает нам, что расстройство речи может происходить как под влиянием звуков и слов той же фразы, предназначаемых к произнесению, так и под воздействием слов, которые находятся за пределами задуманной фразы *и иным способом не обнаружили бы себя*, — то пред нами возникает, прежде всего, вопрос, возможно ли резко разграничить оба эти вида обмолвок и как отличить случаи одной категории от другой. Здесь уместно вспомнить о словах Вундта, который в своей только что вышедшей в свет работе о законах развития языка («Völkerpsychologie», т. I, часть 1-я, стр. 34 и дальше, 1900 г.) рассматривает также и феномен обмолвок. Что, по мнению Вундта, никогда не отсутствует в этих явлениях и других, им родственных, — это известные психические влияния. «Сюда относится, прежде всего, как положительное условие, ничем не стесняемое течение *звуко-*

вых и словесных ассоциаций, вызванных произнесенными звуками. В качестве отрицательного момента к нему присоединяется отпадение или ослабление воздействий воли, стесняющих это течение, и внимание, также выступающего здесь в качестве волевой функции. Проявляется ли эта игра ассоциаций в том, что предвосхищается предстоящий еще звук, или же репродуцируется произнесенный, или между другими какой-либо посторонний, но привычный, или в том, наконец, что на произносимые звуки оказывают свое действие совершенно иные слова, находящиеся с ними в ассоциативной связи,—все это означает лишь различие в направлении и, конечно, различие в том, каким простором пользуются происходящие ассоциации, но не в их общей природе. И во многих случаях трудно решить, к какой форме причислить данное расстройство и не следует ли с большим основанием, следуя *принципу сочетания причин* [1]) поставить его на счет совпадения нескольких мотивов» (стр. 380, 381).

Я считаю замечания Вундта вполне основательными и чрезвычайно поучительными. Быть может, можно было бы с большей решительностью, чем это делает Вундт, подчеркнуть. что позитивно благоприятствующий момент в

1) Курсив мой.

словесных ошибках—беспрепятственное течение ассоциаций—и негативный момент—ослабление стесняющего его внимания—действуют всегда совместно, так что оба момента оказываются лишь различными сторонами одного и того же процесса. С ослаблением стеснительного внимания и приходит в действие беспрепятственное течение ассоциаций,—или, выражаясь еще категоричнее: *чрез* это ослабление.

Среди примеров обмолвок, собранных мною, я почти не нахожу таких, где расстройство речи сводилось бы исключительно к тому, что Вундт называет «действием контакта звуков». Почти в каждом случае я нахожу еще и расстраивающее влияние чего-либо, находящегося *вне пределов* задуманной речи, и это «что-то» есть; либо отдельная, оставшаяся несознанной мысль, дающая о себе знать чрез посредство обмолвки и нередко лишь при помощи тщательного анализа могущая быть доведенной до сознания, или же это более общий психический мотив, направленный против всей речи в целом.

Пример а): я хочу процитировать моей дочери, которая, кусая яблоко, состроила гримасу:

«Der Affe gar possierlich ist,
Zumal wenn er vom Apfel frisst» [1].

---

[1] «Обезьяна очень смешна,
Особенно когда она ест яблоко».

Но начинаю: der Apfe...

Повидимому, это можно рассматривать как контаминацию, компромисс между словами, Affe (обезьяна) и Apfel (яблоко) или же как антиципацию последующего Apfel. В действительности же положение дела таково. Я уже раз начал эту цитату и при этом не обмолвился. Обмолвка произошла лишь при повторении цитаты; повторить же пришлось потому, что дочь моя, занятая другим, не слушала. Это-то повторение и связанное с ним нетерпение, желание отделаться от этой фразы и надо также засчитать в число мотивов моей обмолвки, выступающей в форме процесса «сгущения».

б) Моя дочь говорит: «Ich schreibe der Frau Schresinger» (я пишу г-же *Шрезингер*). Фамилия этой дамы на самом деле *Шле*зингер. Эта ошибка, конечно, находится в связи с тенденцией к облегчению произношения, так как после нескольких звуков *р* трудно произнести *л*. Однако я должен прибавить, что эта обмолвка случилась у моей дочери через несколько минут после того, как я сказал «Apfe» вместо «Affe». Обмолвки же в высокой мере заразительны, также как и забывание имен, по отношению к которому эта особенность отмечена у Мерингера и Майера. Причину этой психической прилипчивости я затрудняюсь указать.

в) Пациентка говорит мне в самом начале визита: «Ich klappe zusammen, wie ein Tassenmescher—Taschenmesser» [1]); звуки перепутаны и это может быть опять-таки оправдано трудностью произношения. Но когда ей была указана ошибка, она не задумываясь ответила: «Это потому, что вы сегодня сказали «Ernscht» (вместо «ernst»—«серьезно»). Я, действительно, встретил ее фразой, в которой в шутку исказил это слово. Во все время приема она постоянно обмолвливается, а я замечаю, конечно, что она не только имитирует меня, но имеет еще и особое основание бессознательно останавливаться на имени «Эрнст» [2]).

г) Та же пациентка другой раз совершает такую обмолвку, «Ich bin so verschnupft, ich kann nicht durch die Asenatmen [3]). Она тотчас же отдает себе отчет в том, откуда эта ошибка. «Я каждый день сажусь в трамвай на Hasenauergasse и сегодня утром, когда

---

[1]) „Я складываюсь, как перочинный ножик".

[2]) Она находилась, как это выяснилось, под влиянием бессознательной мысли о беременности и предупреждении родов. Словами о перочинном ноже, которыми она сознательно выразила жалобу, она хотела описать положение ребенка в утробе матери. Слово „ernst" в моем обращении напомнило ей фамилию (S. Ernst) известной венской фирмы, анонсирующей продажу предохранительных средств против беременности.

[3]) Вместо Nase atmen—«у меня такой насморк, что я не могу *дышать носом*».

я ждала трамвая, мне пришло в голову, что если бы я была француженкой, я выговаривала бы название улицы «Asenauer», потому что французы пропускают звук h в начале слова». Далее она сообщает целый ряд воспоминнаний о французах, с которыми она была знакома, и в результате длинного обходного движения приходит к воспоминанию о том, что 14-летней девочкой она играла в пьесе «Kurmärker und Picarde»-роль Пикарды и говорила тогда на ломаном немецком языке. В тот дом, где она жила, приехал теперь гость из Парижа, случайность, которая и вызвала весь этот ряд воспоминаний. Перестановка звуков была таким образом, вызвана вмешательством бессознательной мысли, совершенно не связанной с тем, о чем шла речь.

д) Аналогичен механизм обмолвки у другой пациентки, которой вдруг изменяет память в то время, как она рассказывает давно забытое воспоминание детства. Она не может припомнить, за какое место схватила ее рука некоего человека. Непосредственно вслед за этим она приходит в гости к своей подруге и разговаривает с ней о дачных квартирах. Ее спрашивают, где находится ее домик в М., и она отвечает: «An der Berglende» вместо «Berglehne» [1]).

---

[1]) Lende—бедро; Berglehne—склон горы.

е) Другая пациентка, которую я спрашиваю по окончании приема, как здоровье ее дяди, отвечает: «Не знаю, я вижу его теперь только in flagranti». На следующий день она начинает: «Мне было очень стыдно, что я вам так глупо ответила. Вы, конечно, должны были счесть меня совершенно необразованным человеком, постоянно путающим иностранные слова. Я хотела сказать «en passant». Тогда мы еще не знали, откуда она взяла неправильно употребленное иностранное слово. Но в тот же день она сообщила, продолжая разговор о вчерашнем воспоминании, в котором главную роль играла поимка с поличным — in flagranti. Ошибка прошлого дня таким образом, предвосхитила несознанное еще в то время воспоминание.

ж) Относительно другой пациентки мне пришлось в ходе анализа высказать предположение, что в то время, о котором у нас шел разговор, она стыдилась своей семьи и сделала своему отцу упрек, нам еще неизвестный. Она ничего такого не помнит и считает это вообще неправдоподобным. Разговор о ее семье, однако, продолжается и она делает такое замечание: «Одно нужно за ними признать: это все-таки необычные люди, sie haben alle Geiz («скупость»—вместо Geist—«дух», «ум»). И таков был действительно тот упрек, который она вытеснила из своей памяти. Что при об-

молвке прорывается как раз та идея, которую хотелось бы подавить,—явление общее (ср. случай Мерингера: Vorschwein). Разница лишь в том, что у Мерингера говоривший субъект хотел подавить нечто известное ему, в то время как моя пациентка не сознает подавляемого или, выражаясь иначе, не знает, что она нечто подавляет и что именно она подавляет.

з) «Если вы хотите купить ковры, идите к Кауфману в Mathäusgasse. Я думаю, что смогу вас там отрекомендовать»—говорит мне одна дама. Я повторяю: «Стало быть у Матеуса... Я хотел сказать, у Кауфмана». На первый взгляд это простая рассеянность: я поставил одно имя на место другого. Под влиянием того, что мне говорила дама, я действительно проявил некоторую рассеянность, так как она направила мое внимание на нечто другое, что было для меня несравненно важнее, чем ковры. В Mathäusgasse находится дом, в котором жила моя жена, когда она еще была моей невестой. Вход в дом был с другой улицы, и теперь я заметил, что название этой последней я забыл; восстановить его приходится окольным путем. Имя Матеуса, на котором, я остановился, послужило мне заместителем позабытого названия улицы. Оно более пригодно для этого, чем имя Кауфмана, так как употребляется только для обозначения лица—в противоположность слову Кауф-

мана (Kaufmann—купец); забытая же улица названа также по имени лица—*Радецкого.*

и) Следующий случай я мог бы отнести к рубрике «ошибок», о которой будет речь ниже; привожу его, однако, здесь, потому что звуковые соотношения, на основе которых произошла замена слов, выступают в нем с особенной наглядностью. Пациентка рассказывает мне свой сон. Ребенок решился покончить с собою посредством укуса змеи; он приводит это в исполнение, она видит, как он бьется в судорогах и т. д. Предлагаю ей найти повод для этого сна в том, что она пережила накануне. Она тотчас же вспоминает, что вчера вечером слушала популярную лекцию об оказании первой помощи при змеином укусе. Если укушены одновременно ребенок и взрослый, то прежде всего надо оказать помощь ребенку. Она вспоминает также, какие указания дал лектор о мерах, которые надо принять. Многое зависит от того, сказал он, какой породы укусившая змея. Я перебиваю ее и спрашиваю: не говорил ли он о том, что в наших краях очень мало ядовитых пород и каких именно следует опасаться? «Да, он назвал гремучую змею (Klapperschlange)». Я улыбаюсь, и она замечает, что сказала что-то не так. Однако, она исправляет не название, а берет все свое заявление обратно: «Да, такой ведь у нас нет; он говорил о гадюке. Каким обра-

зом, пришла мне на ум гремучая змея?» Я подозревал, что это произошло вследствие примешавшихся сюда мыслей, скрытых за ее сном. Самоубийство посредством змеиного укуса может вряд ли иметь другой смысл, как указание на *Клеопатру*. Значительное звуковое сходство обоих слов (Kleopatra и Klapperschlange), совпадение букв kl...p...r, следующих в одном и том же порядке и повторение той же буквы *a* с падающим на нее ударением было совершенно очевидно. Связь между именами Klapperschlange и Kleopatra ограничивает на минуту способность суждения моей пациентки, и благодаря этому утверждение, будто лектор поучал венскую публику о том, какие меры принимать при укусе гремучей змеи, не показалось ей странным. Вообще же она знает столь же хорошо, как и я, что гремучие змеи у нас не водятся. Если она и перенесла, не задумываясь, гремучую змею в Египет, то это вполне простительно, ибо мы привыкли сваливать все внеевропейское, экзотическое в одну кучу, и я сам тоже должен был на минуту призадуматься, прежде чем установить, что гремучая змея встречается только в Новом Свете.

Дальнейшие подтверждения мы встречаем при продолжении анализа. Моя пациентка всего лишь накануне осмотрела выставленную недалеко от ее квартиры скульптуру Штрас-

сера—«*Антоний*». Это был второй повод для ее сновидения (первый—лекция о змеиных укусах). В дальнейшем течении сна она укачивала ребенка, и по поводу этой сцены ей вспомнилась Маргарита из «Фауста». Далее, у нее возникли воспоминания об «*Арриасе* и *Мессалине*». Это обилие имен из драматических произведений заставляет предполагать, что пациентка в прежние годы тайно мечтала об артистической карьере. И начало сна, будто ребенок решил покончить с собой посредством укуса змеи, поистине должно означать: ребенком она собиралась стать знаменитой артисткой. Наконец, от имени Мессалины ответвляется ход мыслей, ведущий к основному содержанию сна. Некоторые происшествия последнего времени породили в ней беспокойство, что ее единственный брат вступит в неподходящий для него брак с неарийкой, т.-е. допустить m e s a l l i a n c e.

и) Хочу привести здесь совершенно невинный—или быть может недостаточно выясненный в своих мотивах—пример, обнаруживающий весьма прозрачный механизм.

Путешествующий по Италии немец нуждается в ремне, чтобы обвязать попорченный чемодан. Из словаря он узнает, что ремень по итальянски correggia. Это слово нетрудно запомнить—думает он,—стоит мне подумать о

художнике Корреджио. Он идет в лавку и просит: una ribera.

Повидимому, ему не удалось заменить в своей памяти немецкое слово итальянским, но все же старания его не были совершенно безуспешны. Он знал, что надо иметь в виду имя художника, но вспомнилось ему не то имя, с которым связано искомое итальянское слово, а то, которое приближается к немецкому слову Riemen (ремень). Этот пример может быть, конечно, отнесен в такой же мере к категории забывания имен, как и к обмолвкам.

Собирая материал об обмолвках для первого издания этой книги, я придерживался правила подвергать анализу все случаи, какие только приходилось наблюдать, даже и менее выразительные. С тех пор занимательную работу собирания и анализирования обмолвок взяли на себя многие другие, и я могу теперь черпать из более богатого материала.

к) Молодой человек говорит своей сестре: с семейством Д. я окончательно рассорился; я уже не раскланиваюсь с ними. Она отвечает: überhaupt eine saubere Lippschaft—вместо Sippschaft («вообще, чистенькая семейка»); в ошибке этой выражены две вещи: во-первых, брат ее когда-то начал флирт с одной девицей из этой семьи, во-вторых, про эту девицу рассказывали, что в последнее время она за-

вела серьезную и недозволенную любовную связь (Liebschaft).

л) Целый ряд примеров я заимствую у моего коллеги д-ра В. Штекеля из статьи в Berliner Tageblatt от 4 января 1904 г. под заглавием «Unbewusste Geständnisse» («Бессознательные признания»).

«Неприятную шутку, которую сыграли со мной мои бессознательные мысли, раскрывает следующий пример. Должен предупредить, что в качестве врача я никогда не руковожусь соображениями заработка и—что разумеется само собой—имею всегда в виду лишь интересы больного. Я пользую больную, которая пережила тяжелую болезнь и ныне выздоравливает. Мы провели ряд тяжелых дней и ночей. Я рад, что ей лучше, рисую ей все прелести предстоящего пребывания в Аббации и прибавляю: «если вы, на что я надеюсь, *не* скоро встанете с постели».

Причина этой обмолвки, очевидно, эгоистический бессознательный мотив—желание дольше лечить эту богатую больную, желание, которое совершенно чуждо моему сознанию, и которое я отверг бы с негодованием.

м) Другой пример (д-р В. Штекель). «Моя жена нанимает на послеобеденное время француженку и, столковавшись с ней об условиях, хочет сохранить у себя ее аттестации. Француженка просит оставить их у нее и моти-

вирует это: «Je cherche encore pour les après-midi, pardon les avants-midi» [1]). Очевидно, у нее есть намерение посмотреть еще, не найдет ли она место на лучших условиях,—намерение, которое она действительно выполнила».

н) «Я читаю одной даме вслух книгу Левит, и муж ее, по просьбе которого я это делаю, стоит за дверью и слушает. По окончании моей проповеди, которая произвела заметное впечатление, я говорю: «До свидания, Monsieur». Осведомленный человек мог бы узнать отсюда, что мои слова были обращены к мужу, и что говорил я ради него».

о) Д-р Штекель рассказывает о себе самом: одно время он имел двух пациентов из Триеста, и, здороваясь с ними, он постоянно путал их фамилии. «Здравствуйте, г-н Пелони» говорил он, обращаясь к Асколи и наоборот. На первых порах он не был склонен приписывать этой ошибке более глубокую мотивировку и объяснял ее рядом черт, имевшихся у обоих пациентов. Он легко убедился, однако, что перепутывание имен объяснялось здесь своего рода хвастовством, желанием показать каждому из этих двух итальянцев, что не один лишь приехал к нему из Триеста за медицинской помощью.

---

[1]) Я ищу место на после-обеденное, pardon, на до-обеденное время.

n) Сам д-р Штекель говорит в бурном собрании: «wir streiten (schreiten) nun zu Punkt 4 der Tagesordnung»: мы *«спорим»* вместо «переходим» к 4 пункту порядка дня.

p) Некий профессор говорит в вступительной лекции: «Ich bin nicht geneigt (geeignet), die Verdienste meines sehr geschätzten Vorgängers zu schildern»: «я *не расположен* (вместо—не считаю себя способным) говорить о заслугах моего уважаемого предшественника».

c) Д-р Штекель говорит даме, у которой предполагает базедову болезнь: «Sie sind um einen Kropf (Kopf) grösser als ihre Schwester»—«Вы *зобом* (вместо—*головой*) выше вашей сестры». При психотерапевтических приемах, которыми я пользуюсь для разрешения и устранения невротических симптомов, очень часто встает задача: проследить в случайных на первый взгляд речах и словах пациента тот круг мыслей, который стремится скрыть себя, но все же нечаянно, самыми различными путями выдает себя. При этом обмолвки служат зачастую весьма ценную службу, как я мог бы показать на самых убедительных и вместе с тем причудливых примерах. Пациентка говорит, например, о своей тетке и неуклонно называет ее, не замечая своей обмолвки, «моя мать» или своего мужа «мой брат». Этим она обращает мое внимание на то, что она отождествила этих лиц, поместила их в один ряд,

означающий для ее эмоциональной жизни повторение того же типа. Или: молодой человек 20 лет представляется мне на приеме следующим образом: «я *отец* NN, которого вы лечили—pardon, я хотел сказать: брат; он на четыре года старше меня». Я понимаю, что этой своей обмолвкой он хочет сказать, что он так же, как и его брат, заболел по вине отца, как и брат нуждается в лечении, но что нужнее всего лечение—отцу. Иной раз, достаточно непривычно звучащего словосочетания, некоторой натянутости, чтобы обнаружить участие вытесненной мысли в иначе мотивированной речи пациента.

Как в грубых, так и в более тонких погрешностях речи, которые еще можно отнести к ряду обмолвок, фактором, обусловливающим возникновение ошибки и достаточно объясняющим ее, я считаю не взаимодействие приходящих в контакт звуков, а влияние мыслей, лежащих за пределами задуманного. Сами по себе законы, в силу которых звуки видоизменяют друг друга, не подвергаются мной сомнению; мне только кажется, что их действие недостаточно для того, чтобы нарушить правильное течение речи. В тех случаях, которые я тщательно изучил и понял, они представляют собою лишь предуготовленный механизм, которым с удобством пользуется, более отдаленный психический мотив не ограничивая себя,

однако, пределами его влияния. В целом ряде подстановок эти звуковые законы не играют при обмолвках никакой роли. В этом мои взгляды совпадают с мнением Вундта, который также предполагает, что условия, определяющие обмолвки, сложны и выходят за пределы простого взаимодействия звуков.

Считая прочно установленными эти, по выражению Вундта «отдаленные психические влияния», я, с другой стороны, не вижу основания отрицать, что при ускорении речи и некотором отклонении внимания условия обмолвок могут легко свестись к тем пределам, которые установлены Мерингером и Майером. Но, конечно, в некоторой части собранных этими авторами примеров более сложное объяснение скорее соответствует истине.

Возьму хотя бы приведенный уже случай: Es war mir auf der Schwest... Brust so schwer [1]).

Так ли просто обстоит здесь дело, что schwe вытесняет здесь рано интенсивный слог Bru путем «предвосхищения»? Вряд ли можно отрицать, что звуки schwe оказались способны к этому «выступлению» еще и благодаря особой связи. Такой связью могла быть только одна ассоциация: Schwester — Bruder (брат), или разве еще: Brust der Schwester

---

1) „Мою грудь (Brust) так давило“. Schwester— сестра.

(грудь сестры), ассоциация, ведущая к другим кругам мыслей. Этот невидимый, находящийся за сценой пособник и сообщает невинному schwe ту силу, успешное действие которой и проявляется в обмолвке.

При иных обмолвках приходится допустить, что собственно помехой является в них созвучие с неприличными словами и вещами. Преднамеренное искажение и коверкание слов и выражание, столь излюбленное дурно воспитанными людьми, только и имеет в виду, пользуясь невинным предлогом, напомнить о предосудительных вещах, и эта манера забавляться встречается так часто, что неудивительно, если она прокладывает себе дорогу бессознательно и против воли. К этой категории можно отнести целый ряд примеров Einscheissweibchen вместо Eiweiss Scheibchen, A popos вместо A propos, Lokuskapitäl вместо Lotuskapitäl; быть может также Alabüsterbachse (Alabasterbüchse) святой Магдалины[1]) «Ich fordere sie auf, auf das Wohe unseres Chefs aufzustossen—вместо anzustossen (предлагаю вам *отрыгнуть* за здоровье нашего патрона»—вместо «чокнуться»)— вряд ли что-нибудь иное, как ненамеренная пародия, возникшая как отзвук намеренной.

---

[1]) У одной из моих пациенток симптоматические обмолвки продолжались до тех пор, пока их не удалось свести к детской шутке; замене ruinieren словом urinieren (вместо разорять—испускать мочу).

На месте того патрона, в честь которого был сказан этот тост, я подумал бы о том, как умно поступали римляне, позволяя солдатам триумфатора громко, в шуточных песнях выражать свой внутренний протест против чествуемого.—Мерингер рассказывает, как он сам обратился раз к старшему в обществе лицу, которое называли обыкновенно фамильярным прозвищем: «Senexl» или «alter Senexl» со словами: «Prost Senex altesl!». Он сам испугался этой ошибки. Быть может, нам станет понятен его аффект, если мы вспомним, как близко слово «altesl» к ругательству «alter Esel» («старый осел»). Неуважение к старости (или, в применении к детскому возрасту,—неуважение к отцу) влечет за собой суровую внутреннюю кару.

Я надеюсь, что читатели не упустят из виду различие в ценности этих ничем не доказуемых указаний и тех примеров, которые я сам и подверг анализу. Но если я все же в глубине души продолжаю ожидать, что даже и простые на вид случаи обмолвок можно будет свести к расстраивающему воздействию полуподавленной идеи, лежащей вне задуманной связи, то к этому понуждает меня одно весьма ценное замечание Мерингера. Этот автор говорит: «замечательно, что никто не хочет признать, что он обмолвился. Встречаются весьма разумные и честные люди, которые

обижаются, если сказать им, что они обмолвились». Я не решился бы выразить это утверждение в такой общей форме, как Мерингер («никто»). Но тот след аффекта, который остается при обнаружении обмолвки и, очевидно, имеет характер чувства стыда, не лишен значения. Его можно поставить на одну доску с тем чувством досады, которое мы испытываем, когда нам не удается вспомнить забытое имя, или с тем удивлением, с каким мы встречаем сохранившееся у нас в памяти несущественное на первый взгляд воспоминание; аффект этот каждый раз свидетельствует о том, что в возникновении расстройства ту или иную роль сыграл какой-либо мотив.

Когда искажение имен проделывается нарочно, оно равносильно некоторого рода пренебрежению: то же значение оно имеет, надо думать, и в целом ряде случаев, когда оно выступает в виде ненамеренной обмолвки. Лицо, которое, по словам Майера, сказало раз Freuder вместо Freud в силу того, что за этим следовало имя Breuer, а другой раз заговорило о Freuer-Breud'овской методе, наверно принадлежало к числу коллег по профессии и, надо полагать, было не особенно восхищено этой методой. Другой случай искажения имен, наверное не поддающийся иному объяснению, я приведу ниже в главе об опи-

сках [1]). В этих случаях в качестве расстраивающего момента врезывается критика, которую говорящему приходится опустить, так как в данную именно минуту она не отвечает его намерениям.

В других случаях—гораздо более значительных—к обмолвке и даже к замене задуманного слова прямо его противоположностью вынуждает самокритика, внутренний протест против собственных слов. В таких случаях с удивлением замечаешь, как измененный, таким образом, текст какого-либо уверения парализует его силу и ошибка в речи вскрывает неискренность сказанного [2]). Обмолвка становится здесь мимическим орудием выражения,—нередко, правда, таким орудием, которым выражаешь то, чего не хотелось сказать, которым выдаешь самого себя. Когда, напр., человек, который в своих отношениях к женщине не питает склонности к так-наз. нормальным сношениям, вмешивается в разговор о девушке, известной своим

---

[1]) Можно заметить также, что как раз аристократы особенно часто путают имена врачей, к которым они обращались; отсюда можно заключить, что, несмотря на обычно проявляемую ими вежливость, они относятся к врачам пренебрежительно.

[2]) При помощи такого рода обмолвки клеймит, напр., Анценгрубер в своем „G'wissenswurm" лицемера, домогающегося наследства.

кокетством, со словами: «Im Ungang mit mir würde sie sich das Koettieren schon abgewöhnen» (вместо «Kokettieren»—«со мной она бы уже отвыкла от кокетства»),—то, несомненно, что только влиянию слова «koitieren» (от coitus) и можно приписать такое изменение задуманного «kokettieren».

Случайно складывающиеся удачные комбинации слов дают примеры обмолвок, играющие роль, прямо-таки убийственных разоблачений, а иной раз производящие полный эффект хорошей остроты.

Таков, например, случай, наблюдавшийся и сообщенный доктором Reitler'ом. Одна дама говорит другой в восхищении: «Diesen neuen reizenden Hut haben Sie wohl sich selbst aufgepatzt»? «Вы, вероятно, сами *напялили* (вместо «убрали»—aufgeputzt) эту прелестную новую шляпу?» Задуманную похвалу пришлось прервать, ибо тайная критическая мысль о том, что «украшение шляпы» (Hutaufputz)—просто нашлепка («Patzerei»), выразилась в досадной обмолвке слишком ясно, чтобы приличествующее случаю выражение восторга могло еще быть принято всерьез.

Или следующий случай, который наблюдал доктор Max Graf:

«В общем собрании общества журналистов «Concordia» молодой член общества, постоянно нуждающийся в деньгах, держит резко оп-

позиционную речь и в возбуждении говорит: «Die Herren Vorschussmitglieder» (вместо: Vorstands--или Ausschussmitglieder — «члены правления». Vorschuss—аванс). Члены правления уполномочены выдавать ссуды, и от молодого оратора уже поступило прошение о ссуде».

Курьезное впечатление производит обмолвка в том случае, когда она подтверждает что-либо, что пациент оспаривает и, что было бы желательно установить врачу в его психоаналитической работе. У одного из моих пациентов мне случилось раз заняться истолкованием сна, в котором встречалось имя Jauner. Пациент знал лицо, носящее такое имя, но почему оно оказалось в связи данного сна, —невозможно было найти, и я решился на предположение, не было ли это вызвано сходством данного имени с бранным словом Gauner (мошенник). Пациент поспешно и энергично запротестовал, но при этом опять обмолвился и этой обмолвкой только подтвердил мое предположение, так как произвел вторично ту же самую замену звуков. Его ответ гласил: «Das erscheint mir doch zu jewagt» вместо («gewagt»: «мне кажется это слишком рискованным»). Когда я обратил его внимание на эту обмолвку, он согласился с моим толкованием.

Когда такого рода обмолвка, превращающая задуманное в его прямую противоположность,

случается в серьезном споре, это тотчас же понижает шансы спорящего, и противник редко упускает случай использовать улучшившуюся для него ситуацию.

Прекрасный пример обмолвки, имеющей целью не столько выдать самого говорящего, сколько послужить ориентировке стоящего вне сцены слушателя, мы находим в шиллеровском Валленштейне (Пикколомини, действие I, явление 5); она показывает нам, что поэт, употребивший это средство, хорошо знал механизм и смысл обмолвок. Макс Пикколомини в предыдущей сцене горячо выступает в защиту герцога и восторженно говорит о благах мира, раскрывшихся перед ним, когда он сопровождал дочь Валленштейна в лагерь. Он оставляет своего отца и посланника двора Квестенберга в полном недоумении. И затем 5 явление продолжается так:

Квестенберг. О горе нам! Вот до чего дошло!
Друг, неужели в этом заблуждении
Дадим ему уйти, не позовем
Сейчас назад, и здесь же не откроем
Ему глаза?

Октавио. Мне он открыл глаза.
И то, что я увидел—не отрадно.

Квестенберг. Что же это, друг?

Октавио. Будь проклята поездка.

Квестенберг. Как? Почему?
Октавио. Идемте! Должен я
Немедленно ход злополучный дела
Сам проследить, увидеть сам...
Идем!
Квестенберг. Зачем? Куда? Да объясните
Октавио. К ней!
Квестенберг. К ней?
Октавио. К герцогу! Идем *).

Эта маленькая обмолвка: «к ней» вместо «к нему» должна показать нам, что отец прозрел настоящую причину того, почему сын стал на сторону герцога, в то время как придворный жалуется, что «он говорит с ним сплошь загадками».

Изложенный здесь взгляд на обмолвки выдерживает испытание даже на мельчайших примерах. Я неоднократно имел возможность показать, что самые незначительные и самые естественные случаи обмолвок имеют свое основание и допускают ту же разгадку, что и другие, более бьющие в глаза примеры. Пациентка, которая вопреки моему желанию, упорствуя в своем намерении, решается предпринять кратковременную поездку в Будапешт, оправдывается предо мной тем, что ведь она едет всего на три *дня*; но оговаривается и говорит: всего на три *недели*. Отсюда ясно,

[1]) Русск. перев. А. Толстого.

что она предпочла бы на зло мне остаться вместо трех дней три недели в обществе, которое я считаю для нее неподходящим.—Раз вечером я хочу оправдать себя в том, что не зашел за женой в театр и говорю: я был в 10 минут 11-го (10 Minuten nach 10 Uhr) у театра. Меня поправляют: ты хочешь сказать—без десяти десять (10 Minuten vor 10 Uhr): Разумеется, я хотел сказать: без десяти десять. Ибо 10 минут 11-го—это уже не было бы оправданием. Мне сказали, что на афише было обозначено: окончание в исходе 10-го часа. Когда я подошел к театру, в вестибюле было уже темно, театр—пуст. Спектакль, очевидно, кончился раньше, и жена не ждала меня. Когда я посмотрел на часы, было без 5-ти десять. Я решил, однако, изобразить дома дело в более благоприятном виде и сказать, что было десять часов без *десяти* минут. Обмолвка испортила все дело и вскрыла мою неискренность: она заставила меня признать больше, чем это даже требовалось.

Мы подходим здесь к тем видам расстройства речи, которых уже нельзя отнести к обмолвкам, так как они искажают не отдельное слово, а общий ритм и произношение; таково бормотание и заикание от смущения. Но и здесь в расстройстве речи сказывается внутренний конфликт. Я положительно не верю, чтобы кто-нибудь мог обмолвиться на

аудиенции у государя, или при серьезном объяснении в любви, или в защитительной речи пред судом присяжных, когда дело идет о чести и добром имени,—словом, во всех тех случаях, когда, по меткому немецкому выражению человек «всецело присутствует». Даже при оценке стиля писателя мы имеем все основания—и привыкли к этому—руководиться тем же принципом, без которого мы не можем обойтись при выяснении отдельных погрешностей речи. Ясная и недвусмысленная манера писать показывает нам, что и мысль автора здесь ясна и уверена, и там, где мы встречаем вымученные вычурные выражения, пытающиеся сказать несколько вещей сразу, мы можем заметить влияние недостаточно продуманной, осложняющей мысли или же заглушенный голос самокритики.

VI.

Очитки и описки.

Что по отношению к ошибкам в чтении и письме имеют силу те же точки зрения и те же указания, что и по отношению к погрешностям речи,— неудивительно, если принять в соображение близкое родство этих функций. Я ограничусь здесь сообщением нескольких тщательно проанализированных примеров и воздержусь от попытки охватить эти явления в целом.

А) Очитки.

а) Я перелистываю в кафэ номер «Лейпцигской Иллюстрированной Газеты», держа ее косо перед собой, и читаю название картины, занимающей страницу: Eine Hochzeitsfeier in der Odyssee—свадебное празднество *в Одиссее*. Обращаю на это внимание, в изумлении придвигаю к себе газету и читаю на этот раз правильно: Свадебное празднество an der

Ostsee (на берегу Балтийского моря). Каким образом приключилась со мной бессмысленная ошибка? Мои мысли обращаются тотчас же к книге Ruths'a «Experimentaluntersuchungen über Musikphantome», сильно занимавшей меня в последнее время, так как она близко затрагивает разрабатываемые мною психологические проблемы. Автор обещает издать в ближайшем будущем работу под названием «анализ и основные законы феноменов сна». Непосредственно перед этим я опубликовал свое «Толкование снов», и неудивительно поэтому, что я ожидаю этой книги с величайшим нетерпением. В книге Ruths'a о музыкальных фантомах я нашел в начале, в оглавлении указание на имеющееся в тексте подробное индуктивное доказательство того, что древнеэллинские мифы и сказания коренятся, главным образом, в дремотных и музыкальных фантомах, в феноменах сна и также горячки. Я тотчас же обратился тогда к соответствующему месту в тексте, чтобы узнать, знаком ли он с тем, как известная сцена, когда Одиссей является Навзикае, сводится к обычному «сновидению о наготе». Один из моих друзей обратил мое внимание на прекрасное место в «Зеленом Генрихе» Г. Келлера, где он объясняет этот эпизод Одиссеи, как объективирование снов блуждающего далеко от родины мореплавателя, и я с своей стороны

привел его в связь со сном «показывания наготы». У Ruths'а я не нашел об этом ничего. Очевидно, в данном случае, меня озабочивала мысль о приоритете.

б) Каким образом случилось, что я прочел однажды в газете: «В бочке (im Fass) по Европе» вместо «Пешком (zu Fuss)»? Этот анализ долгое время затруднял меня. Правда, прежде всего, мне пришло в голову: вероятно, я имел в виду Диогена, и недавно еще я читал в истории искусства что-то об искусстве времен Александра.

Отсюда было уже недалеко и до известных слов Александра: «Если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном». Была у меня также и смутная мысль о некоем *Германе Цейтунге*, который отправился в путешествие, упакованный в ящике. Но дальнейшей связи мне установить не удавалось; не удавалось мне также найти и ту страницу в истории искусства, где мне бросилось в глаза это замечание. Лишь спустя несколько месяцев мне внезапно вспомнилась опять эта загадка, уже было заброшенная, и на этот раз вместе с ней мне пришла в голову и разгадка. Я вспомнил замечание в какой-то газетной статье о том, какие странные способы *передвижения* (Beförderung) изобретают люди, чтобы попасть в Париж на всемирную выставку; там же, помнится, в

шутку сообщалось, что какой-то господин собирается отправиться в Париж в *бочке*, которую покатит другой господин. Разумеется, единственным мотивом этих людей—писала газета—было желание произвести своими глупостями сенсацию. Человек, который подал первый пример такого необычайного передвижения, назывался, действительно, *Герман Цейтунг*. Затем мне вспомнилось, что я однажды лечил пациента, обнаружившего болезненную боязнь газеты (Zeitung), боязнь, которая, как это выяснилось при анализе, была реакцией на болезненное *честолюбие*—желание увидеть свое имя в печати и встретить в газете упоминание о себе, как о знаменитости. Александр Македонский был, несомненно, один из самых честолюбивых людей, какие только жили на свете. Недаром он жаловался, что не может найти второго Гомера, который воспел бы его деяния. Но как мне не пришло в голову, что ближе ко мне другой *Александр*, что таково имя моего младшего брата! Тогда я тотчас же нашел предосудительную и требовавшую вытеснения мысль, имевшую отношение к этому Александру, как и непосредственный повод к ней. Мой брат—специалист в делах тарифных и *транспортных* и должен был к известному времени за свою педагогическую деятельность в коммерческой школе получить звание про-

фессора. К такому же *повышению* (Beförderung) я был представлен в университете уже много лет назад, но еще не получил его. Наша мать выразила тогда свое недовольство по поводу того, что ее младшему сыну предстояло раньше получить профессорское звание, чем старшему. Таково было положение дел в то время, когда я не мог найти разгадки для моей ошибки в чтении. После этого мой брат также встретился с трудностями: его шансы на профессуру упали еще ниже моих. И тогда мне сразу стал ясен смысл этой очитки; словно понижение шансов моего брата устранило какое-то препятствие. Мое поведение было таково, как-будто я читаю в газете о назначении моего брата и говорю сам себе при этом: удивительно, что благодаря таким глупостям (какими он занимается по профессии) можно попасть в газету (т.-е. получить профессорское звание)! Место в книге о греческом искусстве эпохи Александра я нашел тогда без труда и убедился к моему изумлению, что во время своих прежних поисков я неоднократно просматривал эту же страницу и как бы под влиянием какой-то отрицательной галлюцинации каждый раз пропускал это место. Впрочем, оно не заключало ничего такого, из чего я мог бы понять, что, собственно, должно было быть позабыто. Я думаю, что симптом ненахожде-

ния в книге был создан только для того, чтобы сбить меня с пути. Нужно было, чтобы я искал продолжения серии мыслей именно там, где мое исследование натолкнулось на препятствие, стало быть, в какой-нибудь мысли об Александре Македонском, и чтобы мое внимание, таким образом, было тем надежнее отвлечено от другого Александра— моего брата. И это, действительно, удалось вполне; я направил все свои усилия на то, чтобы вновь найти утраченное место из истории искусств.

Двусмысленность слова «Beförderung» («передвижение» и «повышение») создала в данном случае ассоциативный мост между двумя комплексами,—несущественным, который был вызван чтением газетной заметки, и другим, более интересным, но зато и предосудительным, который мог здесь оказать свое действие в форме искажения прочитанного текста. Из этого примера видно, что не всегда бывает легко выяснить эпизоды, вроде такой ошибки. Иной раз бывает необходимо отложить разрешение загадки на более благоприятное время. Но чем труднее оказывается разгадывание, тем с большей уверенностью можно ожидать, что будучи, наконец, вскрыта, мешающая мысль будет воспринята нашим сознательным мышлением как нечто чуждое и противоположное.

в) Однажды я получаю письмо из окрестностей Вены, сообщающее мне потрясающую новость. Зову тотчас же мою жену и делюсь с ней печальным известием о том, что бед*ная* г-жа Вильгельм М. так тяжело больна, что врачи считают ее безнадежной. В тех словах, в которых я выразил свое сожаление, что-то должно было звучать неправильно, потому что жена моя смотрит на меня с недоверием, просит, чтобы я ей дал прочесть письмо и выражает свою уверенность, что этого там не может быть, ибо никто не называет жены по имени мужа; к тому же автору письма прекрасно известно имя жены. я упорно стою на своем и ссылаюсь на обычные визитные карточки, на которых жена сама обозначает себя по имени мужа. В конце концов, приходится взять письмо и мы, действительно, читаем в нем: «бедн*ый* В. М.», более того—чего я совсем не заметил: «бедный д-р В. М.». Моя ошибка означала, таким образом, если можно так выразиться, судорожную попытку перенести печальное известие с мужа на жену. Находившееся между прилагательным и собственным именем обозначение звания плохо вязалось с требованием, чтобы дело касалось жены, и потому при чтении было устранено. Мотивом этого искажения было, однако, не то, чтобы жена была мне менее симпатична, чем муж, а то,

что участь этого несчастного вызвала во мне беспокойство о другом, близком мне человеке, чья болезнь была в некотором отношении аналогична этой.

г) Досадна и смешна ошибка, которую я делаю очень часто, когда случается на каникулах гулять по улицам незнакомого города. На каждой вывеске, которая сколько-нибудь подходит для этого, я читаю: «антикварная торговля». В этом сказывается зуд коллекционера.

Б) Описки.

а) На листе бумаги, заключающем в себе краткие ежедневные заметки, преимущественно делового характера, я к удивлению своему нахожу среди правильных дат сентября месяца ошибочное обозначение «четверг, 20 октября». Не трудно объяснить это предвосхищение,—как выражение пожелания. Несколькими днями раньше я вернулся из каникулярного путешествия и ощущаю готовность к усиленной врачебной деятельности; но число пациентов еще невелико. Приехав, я нашел письмо от одной больной, которая пишет, что будет у меня 20 октября. В тот момент, когда я собирался выставить ту же дату сентября месяца, я мог подумать: «Пускай бы

Х. была уже здесь; как жалко терять целый месяц!»—и с этой мыслью передвинул вперед дату. Мысль, вызвавшая расстройство, вряд ли могла бы в данном случае показаться предосудительной, но зато и вскрыть причины описки мне удалось тотчас же, как только я ее заметил. Совершенно аналогичная и подобным же образом мотивированная описка повторилась затем осенью, год спустя.

б) Я получаю корректуру моей статьи для «Ежегодника неврологии и патологии» и должен, естественно, с особой тщательностью просмотреть имена авторов, которые принадлежат к различным нациям и представляют поэтому большие трудности для наборщика. Некоторые иностранные имена мне, действительно, приходится выправить, но одно имя наборщик исправил сам—по сравнению с тем, как оно было в рукописи,—и исправил с полным основанием. Я написал «*Букргард*», наборщик угадал в этом: «*Буркгард*». Я сам похвалил, как ценную, статью одного акушера о влиянии родов на происхождение детского паралича; ничего не имею и против автора; но у него в Вене есть однофамилец, рассердивший меня своей непонятливой критикой «Толкования снов». Было как раз так, словно я, вписывая имя акушера Буркгарда, подумал что-то нехорошее о другом Буркгарде-писателе, ибо искажение имен обозначает

сплошь да рядом,—как я уже указывал в главе об обмолвках,—пренебрежение [1]).

3) Более серьезный случай описки, который, пожалуй, с тем же основанием можно было бы отнести к разряду «ошибочных действий» таков. Я намерен взять из сберегательной кассы сумму в 300 крон, которые я собираюсь послать родственнику, уехавшему лечиться. Я замечаю при этом, что у меня на счету имеется 4380 крон, и решаю свести эту сумму к круглой цифре 4000 крон, с тем, чтобы в ближайшем времени их уже не трогать. Выполнив чек и вырезав соответствующие цифры, я вдруг замечаю, что вырезал не 380 крон, как предполагал, а как раз *438*, и ужасаюсь ненадежности, которую я проявил. Что испуг мой неоснователен, я понял скоро; не стал же я беднее, чем раньше. Но мне пришлось довольно долго раздумывать над тем, какое влияние могло расстроить мое первоначальное намерение, не доходя до моего сознания. На первых порах я попадаю на ложный путь,

---

[1]) Ср. след. место из „Юлия Цезаря", д. 1, явл. 3:
Цинна. Поистине, мое имя Цинна.
Гражданин. Разорвите его на куски! Он заговорщик.
Цинна. Я поэт Цинна, я не Цинна-заговорщик.
Гражданин. Всё равно; его имя Цинна, вырвите у него имя из сердца и отпустите его".

вычитаю одно число из другого, но не знаю, что сделать с разностью. В конце концов случайно пришедшая в голову мысль обнаруживает предо мной настоящую связь. 438 составляет ведь *десять процентов* всего моего счета в 4380 крон! Десятипроцентную же уступку дает *книгопродавец*! Я вспоминаю, что несколькими днями раньше, я отобрал ряд медицинских книг, утративших для меня интерес и предложил их книгопродавцу как раз за 300 крон. Он нашел, что цена слишком высока, и обещал через несколько дней дать окончательный ответ. Если он примет мое предложение, то этим как раз возместит ту сумму, которую я собираюсь издержать на больного. Несомненно, что этих денег мне жалко. Аффект, испытанный мной, когда я заметил ошибку, может быть скорее объяснен, как боязнь обеднеть из-за таких расходов. Но и то и другое, и сожаление об этом расходе, и связанная с ним боязнь обеднеть, совершенно чужды моему сознанию; я не чувствовал сожаления, когда обещал эту сумму и мотивировку этого сожаления нашел бы смешной. Я, вероятно, и не поверил бы, что во мне может зашевелиться такое чувство, если бы, благодаря практике психоанализов, производимых над пациентами, я в значительной степени не освоился с феноменом вытеснения в душевной жизни, и если бы несколькими

днями раньше не видел сна, который требовал того же самого объяснения [1]).

г) Цитирую по д-ру W. Stekel'ю следующий случай, достоверность которого могу также удостоверить:

«Прямо невероятный случай ошибочного чтения и письма произошел в редакции одного распространенного еженедельника. Редакция эта была публично названа «продажной»; надо было дать отповедь и защититься. Статья была написана очень горячо, с большим пафосом. Главный редактор прочел статью, автор прочел ее, конечно, несколько раз—в рукописи и в гранках; все были очень довольны. Вдруг, появляется корректор и обращает внимание на маленькую ошибку, никем не замеченную. Соответствующее место ясно гласило: «Наши читатели засвидетельствуют, что мы всегда самым *корыстным* образом, (in eigennützigster Weise), отстаивали общественное благо». Само собой понятно, что должно было быть написано «самым *бескорыстным* образом» («in uneigennützigster Weise»). Но истинная мысль со стихийной силой прорвалась чрез патетическую фразу.

---

[1]) Это тот сон, который я привел в виде примера в небольшой статье „О сне“, напечатанной в № 8 „Grenzfragen des Nerven und Seelenlebens“ изд. Löwenfeld и Kurella, 1901 г.

Вундт дает интересное объяснение тому факту (который можно легко проверить), что мы скорее подвергаемся опискам, чем обмолвкам. (Стр. 374 цит. соч.)

«В процессе нормальной речи задерживающая функция воли постоянно направлена на то, чтобы привести в соответствие течение представлений и движение органа речи. Но когда сопутствующие представлениям, выражающие их акты замедляются в силу механических причин, как это бывает при письме... подобного рода антиципации наступают особенно легко».

Наблюдение условий, в которых случаются ошибки в чтении, дают повод к сомнению, которое я не хочу обойти молчанием, так как оно, на мой взгляд, может послужить отправной точкой для плодотворного исследования. Всякий знает, как часто при *чтении вслух* внимание читающего оставляет текст и обращается к собственным мыслям. В результате этого отклонения внимания читающий нередко вообще не в состоянии бывает сказать, что он прочел, если его прервут и спросят об этом. Он читал как бы автоматически, но при этом почти всегда верно. Я не думаю, чтобы при этих условиях число ошибок заметно увеличивалось. Предполагаем же мы обычно относительно целого ряда функций, что с наибольшей точностью они

выполняются тогда, когда это делается автоматически, т.-е. когда внимание работает почти бессознательно.

Отсюда, повидимому, следует, что та роль, которую играет внимание при обмолвках, описках, ошибках в чтении определяется иначе, чем это делает Вундт (устранение или ослабление внимания). Примеры, которые мы подвергли анализу, не дали нам, собственно, права допустить количественное ослабление внимания, мы нашли—что, быть может, не совсем то же—*расстройство* внимания посторонней мыслью, предъявляющей свои требования.

VII.

Забывание впечатлений и намерений.

Если бы кто-нибудь был склонен преувеличивать то, что нам известно теперь о душевной жизни, то достаточно было бы указать на функцию памяти, чтобы заставить его быть скромнее. Ни одна психологическая теория не была еще в состоянии дать отчет об основном феномене припоминания и позабывания в его совокупности; более того, последовательное расчленение того фактического материала, который можно наблюдать, едва лишь начато. Быть может, теперь забывание стало для нас более загадочным, чем припоминание, с тех пор, как изучение сна и патологических явлений показало, что в памяти может внезапно всплыть и то, что мы считали давно позабытым.

Правда, мы установили уже несколько отправных точек, для которых ожидаем всеобщего признания. Мы предполагаем, что забывание есть самопроизвольный процесс, ко-

торый можно считать протекающим на протяжении известного времени. Мы подчеркиваем, что при забывании происходит известный отбор наличных впечатлений, равно как и отдельных элементов каждого данного впечатления или переживания. Нам известны некоторые условия сохранения в памяти и пробуждения в ней того, что без этих условий было бы забыто. Однако повседневная жизнь дает нам бесчисленное множество поводов заметить, как неполно и неудовлетворительно наше знание. Стоит прислушаться к тому, как двое людей, совместно воспринимавших внешние впечатления,—скажем, проделавших вместе путешествие,—обмениваются спустя некоторое время своими воспоминаниями. То, что у одного прочно сохранилось в памяти, другой сплошь да рядом забывает, словно этого и не было; при этом мы не имеем никакого основания предполагать, чтобы данное впечатление было для него психически более значительно, чем для второго. Ясно, что целый ряд моментов, определяющих отбор для памяти, ускользает от нас.

Желая прибавить хотя бы немногое к тому, что мы знаем об условиях позабывания, я имею обыкновение подвергать психологическому анализу те случаи, когда мне самому приходится что-либо забыть. Обычно я занимаюсь лишь определенной категорией этих

случаев—теми именно, которые приводят меня в изумление, так как я ожидаю, что данная вещь должна быть мне известна. Хочу еще заметить, что вообще я не склонен к забывчивости (по отношению к тому, что я пережил, не к тому, чему научился!) и что в юношеском возрасте я в течение некоторого короткого времени был способен даже на необыкновенные акты запоминания. В ученические годы для меня было совершенно естественным делом повторить наизусть прочитанную страницу книги, и незадолго до поступления в университет я был в состоянии записывать популярно-научные лекции непосредственно после их выслушания почти дословно. В напряженном состоянии, в котором я находился перед последними медицинскими экзаменами, я, повидимому, еще использовал остатки этой способности, ибо по некоторым предметам я давал экзаменаторам как бы автоматические ответы, точно совпадавшие с текстом учебника, который я, однако, просмотрел всего лишь раз с величайшей поспешностью.

С тех пор способность пользоваться материалом, накопленным памятью, у меня постоянно слабеет, но все же вплоть до самого последнего времени мне приходилось убеждаться в том, что с помощью искусственного приема я могу вспомнить гораздо боль-

ше, чем мог бы ожидать. Если, например, пациент у меня на консультации ссылается на то, что я уже раз его его видел, между тем, как я не могу припомнить ни самого факта, ни времени, я облегчаю себе задачу путем отгадывания: вызываю в своем воображении какое-нибудь число лет, считая с данного момента. В тех случаях, когда имеющиеся записи или точные указания пациента делают возможным проконтролировать пришедшее мне в голову число, обнаруживается, что я редко когда ошибаюсь больше, чем на полгода, при сроках превышающих 10 лет [1]. То же бывает, когда я встречаю малознакомого человека, которого из вежливости спрашиваю о его детях. Когда он рассказывает мне об успехах, которые они делают, я стараюсь вообразить себе, каков теперь возраст ребенка, проверяю, затем эту цифру показаниями отца, и оказывается, что я ошибаюсь самое большее на месяц, при более взрослых детях на три месяца; но при этом я решительно не могу сказать, что послужило основанием вообразить именно такую цифру. Под конец я до того осмелел, что сам первый высказываю теперь свою догадку о возрасте, не рискуя при этом

---

[1] Обыкновенно затем в ходе разговора частности тогдашнего первого визита всплывают уже сознательно.

обидеть отца своей неосведомленностью насчет его ребенка. Таким образом лишь я расширяю свое сознательное припоминание, аппелируя к бессознательной памяти, во всяком случае более богатой.

Итак, я буду сообщать о *бросающихся в глаза* случаях забывания, которые я наблюдал по большей части на себе самом. Я различаю забывание впечатлений и переживаний, т.-е. или забывание того, что знаешь, от забывания намерений, т.-е. упущения чего-то. Результат всего этого ряда исследований один и тот же: *во всех случаях в основе забывания лежит мотив неохоты* (Unlustmotiv).

А. Забывание впечатлений и знаний.

а) Летом моя жена подала мне безобидный по существу повод к сильному неудовольствию. Мы сидели за table d'hôte'ом vis-à-vis с одним господином из Вены, которого я знал и который, по всей вероятности, помнил и меня. У меня были, однако, основания не возобновлять знакомства. Жена моя, однако, расслышавшая лишь громкое имя своего vis-à-vis, весьма скоро дала понять, что прислушивается к его разговору с соседями, так как от времени до времени обращалась ко мне с вопросами, в которых подхватывалась

нить их разговора. Мне не терпелось; наконец, это меня рассердило. Несколько недель спустя, я пожаловался одной родственнице на поведение жены; но при этом не мог вспомнить ни одного слова из того, что говорил этот господин. Так как вообще я довольно злопамятен и не могу забыть ни одной детали рассердившего меня эпизода, то, очевидно, что моя амнезия в данном случае мотивировалась известным желанием считаться, щадить жену. Недавно еще произошел со мной подобный же случай: я хотел в разговоре с близким знакомым посмеяться над тем, что моя жена сказала всего несколько часов тому назад; оказалось, однако, что мое намерение невыполнимо, по той замечательной причине, что я бесследно забыл слова жены. Пришлось попросить ее же напомнить мне их. Легко понять, что эту забывчивость надо рассматривать, как аналогичную тому расстройству суждения, которому мы подвержены, когда дело идет о близких нам людях.

б) Я взялся достать для приехавшей в Вену иногородней дамы маленькую железную шкатулку для хранения документов и денег. В тот момент, когда я предлагал свои услуги, предо мной с необычайной зрительной яркостью стояла картина одной витрины в центре города, в которой я видел такого рода шкатулки. Правда, я не мог вспомнить на-

звание улицы, но был уверен, что стоит мне пройтись по городу, и я найду лавку, потому что моя память говорила мне, что я проходил мимо нее бесчисленное множество раз. Однако, к моей досаде, мне не удалось найти витрины со шкатулками, несмотря на то, что я исходил эту часть города во всех направлениях. Не остается ничего другого, думал я, как разыскать в справочной книге адреса фабрикантов шкатулок, чтобы затем, обойдя город еще раз, найти искомый магазин. Этого, однако, не потребовалось; среди адресов, имеющихся в справочнике, я тотчас же опознал забытый адрес, магазина. Оказалось, что я, действительно, бесчисленное множество раз проходил мимо его витрины, и это было каждый раз, когда я шел в гости к семейству М., долгие годы жившему в том же доме. С тех пор как это близкое знакомство сменилось полным отчуждением, я обычно, не отдавая себе отчета в мотивах, избегал и этой местности и этого дома. В тот раз, когда я обходил город, ища шкатулки, я исходил в окрестностях все улицы, и только этой одной тщательно избегал, словно на ней лежал запрет. Мотив неохоты, послуживший в данном случае виной моей неориентированности, здесь вполне осязателен. Но механизм забвения здесь не так прост, как в прошлом примере. Мое нерасположение отно-

сится, очевидно, не к фабриканту шкатулок, а к какому-то другому, о котором я не хочу ничего знать; от этого другого оно переносится на данное поручение и здесь порождает забвение. Точно таким же образом в случае с *Буркгардом* досада на одного человека породила описку в имени другого. Если там связь между двумя по существу различными кругами мыслей создалась благодаря совпадению имен, то здесь в примере с витриной, ту же роль могла сыграть смежность в пространстве, непосредственное соседство. Впрочем, в данном случае имелась налицо еще и более прочная, внутренняя связь, ибо в числе причин, вызвавших разлад с жившим в этом доме семейством, большую роль играли деньги.

в) Контора Б. & Р. приглашает меня на дом к одному из ее служащих. По дороге к нему меня занимает мысль о том, что в доме, где помещается фирма, я уже неоднократно был. Мне представляется, что вывеска этой фирмы в одном из нижних этажей бросилась мне когда-то в глаза в то время, когда я должен был подняться к больному в один из верхних этажей. Однако я не могу вспомнить, ни что это за дом, ни кого я там посещал. Хотя вся эта история совершенно безразлична и не имеет никакого значения, я все же продолжаю ею заниматься и,

в конце концов, прихожу обычным окольным путем, помощью собирания всего, что мне приходит в голову, к тому, что этажом выше над помещением фирмы Б. & Р. находится пансион *Фишер*, в котором мне не раз приходилось навещать пациентов. Теперь я уже знаю и дом, в котором помещается бюро и пансион. Загадкой для меня остается все же, какой мотив оказал здесь свое действие на мою память. Не нахожу ничего, о чем было бы неприятно вспомнить, ни в самой фирме, ни в пансионе Фишер, ни в живших там пациентах. Я предполагаю, что дело не идет о чем-нибудь очень неприятном; ибо в противном случае мне вряд ли удалось бы вновь овладеть забытым помощью одного окольного пути, не прибегая, как в предыдущем примере, к внешним вспомогательным средствам. Наконец, мне приходит в голову, что только что, когда я двинулся в путь к моему новому пациенту, мне поклонился на улице какой-то господин, которого я лишь с трудом узнал. Несколько месяцев тому назад я видел этого человека в очень тяжелом, на мой взгляд, состоянии и поставил ему диагноз прогрессивного паралича; впоследствии я, однако, слышал, что он оправился, так что мой диагноз оказался неверным. (Если только здесь не было случая «ремиссии», встречающейся и

при dementia paralitica, ибо тогда мой диагноз был бы все-таки верен!) От этой встречи и исходило влияние, заставившее меня забыть, в чьем соседстве находилась контора Б. & Р., и тот интерес, с которым я взялся за разгадку забытого, был перенесен сюда от этого случая спорной диагностики. Ассоциативное же соединение было при слабой внутренней связи,—выздоровевший вопреки ожиданиям был также служащим в большой конторе, обычно посылавшей мне больных,—установлено благодаря тождеству имен. Врач, с которым я совместно осматривал спорного паралитика, носил то же имя Фишер, что и забытый мною пансион.

г) *Заложить* куда-нибудь вещь означает в сущности не что иное, как забыть, куда она положена. Как большинство людей, имеющих дело с рукописями и книгами, я хорошо ориентируюсь в том, что находится на моем письменном столе, и могу сразу же достать искомую вещь. То, что другим представляется беспорядком, для меня—исторически сложившийся порядок. Почему же я недавно так запрятал присланный мне каталог книг, что невозможно было его найти? Ведь собирался же я заказать обозначенную в нем книгу «О языке», написанную автором, которого я люблю за остроумный и живой стиль и в котором ценю понимание психологии и

познания по истории культуры. Я думаю, что именно поэтому я и запрятал каталог. Дело в том, что я имею обыкновение одалживать книги этого автора моим знакомым, и недавно еще кто-то, возвращая книгу, сказал: «Стиль его напоминает мне совершенно ваш стиль, и манера думать та же самая». Говоривший не знал, что он во мне затронул этим своим замечанием. Много лет назад, когда я еще был моложе и более нуждался в поддержке, мне то же самое сказал один старший коллега, которому я хвалил медицинские сочинения одного известного автора. «Совершенно ваш стиль и ваша манера». Под влиянием этого я написал автору письмо, прося о более тесном общении, но получил от него холодный ответ, которым мне было указано мое место. Быть может, за этим последним отпугивающим уроком скрываются еще и другие, более ранние, ибо запрятанного каталога я так и не нашел; и это предзнаменование, действительно, удерживало меня от покупки книги, хотя действительного препятствия исчезновение каталога и не представило. Я помнил и название книги и фамилию автора [1]).

---

[1]) Для многих случайностей, которые мы вслед за Th. Vischer'ом приписываем „коварству об'екта", я предложил бы аналогичное об'яснение.

Другой случай заслуживает нашего внимания благодаря тем условиям, при которых была найдена заложенная куда-то вещь. Один молодой человек рассказывает мне: несколько лет тому назад в моей семьей происходили недоразумения; я находил, что моя жена слишком холодна, и хотя я охотно признавал ее превосходные качества, мы все же относились друг к другу без нежности. Однажды она принесла мне, возвращаясь с прогулки, книгу, которую купила, так как, по ее мнению, она должна была меня интересовать. Я поблагодарил за этот знак «внимания», обещая прочесть книгу, положил ее куда-то и не нашел уже больше. Так прошел целый ряд месяцев, в течение которых я при случае вспоминал о затерянной книге и тщетно старался ее найти. Около полугода спустя заболела моя мать, которая живет отдельно от нас, и которую я очень люблю. Моя жена оставила наш дом, чтобы ухаживать за свекровью. Положение больной стало серьезным, и моя жена имела случай показать себя с лучшей стороны. Однажды вечером я возвращаюсь домой в восторге от поведения моей жены и полный благодарности к ней. Подхожу к моему письменному столу, открываю без определенного намерения, но с сомнамбулической уверенностью определенный ящик и нахожу в нем сверху давно исчезнувшую заложенную книгу.

Обозревая случаи закладывания вещей, трудно себе в самом деле представить, чтобы оно когда-нибудь происходило иначе, как под влиянием бессознательного намерения.

д) Летом 1901 года я сказал как-то моему другу, с которым находился в тесном идейном общении по научным вопросам: «Эти проблемы невроза могут быть разрешены лишь тогда, если мы всецело станем на почву допущения первоначальной бисексуальности индивида». В ответ я услышал: «Я сказал тебе это уже $2\frac{1}{2}$ года тому назад в Бр., помнишь, во время вечерней прогулки. Тогда ты об этом и слышать ничего не хотел». Неприятно, когда тебе предлагают признать свою неоригинальность. Я не мог припомнить ни разговора, ни этого открытия моего друга. Очевидно, что один из нас ошибся; по принципу «cui prodest» ошибиться должен был я. И, действительно, в течение ближайшей недели я вспомнил, что все было так, как хотел напомнить мне мой друг; я знаю даже, что я ответил тогда: «до этого я еще не дошел, не хочу входить в обсуждение этого». С тех пор, однако, я стал несколько терпимее, когда приходится где-нибудь в медицинской литературе сталкиваться с одной из тех немногих идей, которые связаны с моим именем, при чем это последнее не упоминается.

Упреки жене; дружба, превратившаяся в свою противоположность; ошибка во врачебной диагностике; отпор со стороны людей, идущих к той же цели; заимствование идей;— вряд ли может быть случайностью, что ряд примеров забывания, собранных без выбора, требуют для своего разрешения—углубления в столь тягостные темы. Напротив, я полагаю, что любой другой, кто только пожелает исследовать мотивы своих собственных случаев забывания, сможет составить подобную же таблицу неприятных вещей. Склонность к забыванию неприятного имеет, как мне кажется, всеобщий характер, если способность к этому и неодинаково развита у всех. Не раз *отрицание* того или другого, встречающееся в медицинской практике, можно было бы, по всей вероятности, свести к *забыванию* [1]).

---

[1]) Когда спрашиваешь у человека, не подвергся ли он лет 10 или 15 назад сифилитическому заболеванию, легко забываешь при этом, что опрашиваемое лицо относится к этой болезни психически совершенно иначе, чем, скажем, к острому ревматизму.—В анамнезах, которые сообщают родители о своих нервно-больных дочерях, вряд ли можно с уверенностью различить, что позабыто и что скрывается, ибо все то, что может впоследствии помешать замужеству дочери, родители систематически устраняют, т.-е. вытесняют.

Наш взгляд на подобного рода забывание сводит различие между ним и отрицанием к чисто психологическим отношениям и позволяет нам в обеих формах реагирования видеть проявление одного и того же мотива. Из всех тех многочисленных примеров отрицания неприятных воспоминаний, какие мне приходилось наблюдать у родственников больных, у меня сохранился в памяти один особенно странный. Мать рассказывала мне о детстве своего сына, нервно-больного, находящегося в возрасте половой зрелости, и сообщила при этом, что и он, и другие ее дети, вплоть до старшего возраста, страдали по ночам недержанием мочи—обстоятельство, не лишенное значения в истории нервной болезни. Несколько недель спустя, когда она осведомилась о ходе лечения, я имел случай обратить ее внимание на признаки конституционального предрасположения молодого человека к болезни, и сослался при этом на установленное анамнезом недержание мочи. К моему удивлению она стала отрицать этот факт как по отношению к нему, так и остальным детям, спросила меня, откуда мне это может быть известно, и узнала, наконец, от меня, что она сама мне об этом недавно рассказала и теперь позабыла об этом [1]).

---

[1]) В то время, когда я работал над этими страницами, со мной произошел следующий, почти неве-

Таким образом даже и у здоровых, не подверженных неврозу людей, можно в изобилии найти указания на то, что воспоминание о

роятный случай забвения. Я просматриваю 1-го января свою врачебную книгу, чтобы выписать гонорарные счета, встречаюсь при этом в рубрике июня месяца с именем М-ль и не могу вспомнить соответствующего лица. Мое удивление возрастает, когда я, перелистывая дальше, замечаю, что я лечил этого больного в санатории и что в течение ряда недель я посещал его ежедневно. Больного, с которым бываешь занят при таких условиях, врач не забывает через каких-нибудь полгода. Я спрашиваю себя: кто бы это мог быть—мужчина, паралитик, неинтересный случай? Наконец, при отметке о полученном гонораре мне опять приходит на мысль все то, что стремилось исчезнуть из памяти. М-ль была 14-летняя девочка, самый замечательный случай в моей практике за последние годы; он послужил мне уроком, который я вряд ли забуду, и исход его заставил меня пережить не один мучительный час. Девочка заболела несомненно истерией, которая под влиянием моего лечения обнаружила быстрое и основательное улучшение. После этого улучшения родители взяли от меня девочку; она еще жаловалась на боли в животе, которым принадлежала главная роль в общей картине истерических симптомов. Два месяца спустя она умерла от саркомы брюшных желез. Истерия, к которой девочка была кроме того предрасположена, воспользовалась образованием опухли, как провоцирующей причиной, и я, будучи ослеплен шумными но безобидными явлениями истерии, быть может, не заметил первых признаков подкрадывавшейся фатальной болезни.

тягостных впечатлениях, и представления о тягостных мыслях наталкиваются на какое-то препятствие. Но оценить все значение этого факта можно лишь, рассматривая психологию невротиков. Подобного рода *стихийное стремление к отпору* представлениям, могущим вызвать ощущение неудовольствия, стремление, с которым можно сравнить лишь рефлекс бегства при болезненных раздражениях, приходится отнести к числу главных столпов того механизма, который является носителем истерических симптомов. Неправильно было бы возражение насчет того, что, напротив, сплошь да рядом нет возможности отделаться от тягостных воспоминаний, преследующих нас, отогнать такие тягостные аффекты, как раскаяние, угрызение совести. Мы и не утверждаем, что эта тенденция отпора оказывается везде в силах одержать верх, что она не может в игре психинеских сил натолкнуться на факторы, стремящиеся по другим мотивам к обратной цели и достигающие ее вопреки этой тенденции. *Архитектоника душевного аппарата основывается, поскольку можно догадываться, на принципе прослойки ряда инстанций, находящихся одна на другой*, и весьма возможно, что это стремление к отпору относится к низшей психической инстанции и парализуется другими, высшими. В всяком случае, если мы можем свести к этой тенден-

ции отпора такие явления, как случаи забывания, приведенные в наших примерах, то это уже говорит о ее существовании и ее силе. Мы видим, что многое забывается по причинам, лежащим в нем же самом; там, где это невозможно, тенденция отпора передвигает свою цель и устраняет из нашей памяти хотя бы нечто иное, не столь важное, но находящееся в ассоциативной связи с тем, что собственно и вызвало отпор.

Развитая здесь точка зрения, усматривающая в тягостных воспоминаниях особую склонность подвергаться мотивированному забвению, заслуживала бы применения ко многим областям, в которых она в настоящее время еще не нашла себе признания, или, если и нашла, то в слишком недостаточной степени. Так, мне кажется, что она все еще недостаточно подчеркивается при оценке показаний свидетелей на суде [1]), при чем приведению свидетеля к присяге явно приписывается чересчур большое очищающее влияние на психическую игру сил. Что при происхождении традиций и исторических сказаний из жизни народов, приходится считаться с подобным мотивом, стремящимся вытравить воспоминание обо всем том, что тягостно для национального чувства, признается всеми. Быть может, при бо-

---

[1]) Ср. Hans Gross. Kriminalpsychologie, 1898.

лее тщательном наблюдении была бы установлена полная аналогия между тем, как складываются народные традиции, и тем, как образуются воспоминания детства у отдельного индивида.

Совершенно так же, как при забывании имен, может наблюдаться ошибочное припоминание и при забывании впечатлений; и в тех случаях, когда оно принимается на веру, оно носит название обмана памяти. Патологические случаи обмана памяти (при паранойе, и он играет даже роль конституирующего момента в образовании бредовых представлений) породили обширную литературу, в которой я, однако, нигде не нахожу указаний на мотивировку этого явления. Так как и эта тема относится к психологии невроза, то она выходит за пределы рассмотрения в данной связи. Зато я приведу случившийся со мной самим своеобразный пример обмана памяти, на котором можно с достаточной ясностью видеть, как этот феномен мотивируется бессознательным вытесненным материалом и как он сочетается с этим последним.

В то время, когда я писал позднейшие главы моей книги о толковании снов, я жил на даче, не имея доступа к библиотекам и справочным изданиям, и был вынужден, в расчете на позднейшее исправление, вносить в рукопись всякого рода указания и цитаты

по памяти. В главе о снах наяву мне вспоминалась чудесная фигура бедного бухгалтера из «Набоба» *Альфонса Додэ*, в лице которого поэт, вероятно, хотел изобразить свои собственные мечтания. Мне казалось, что я отчетливо помню одну из тех фантазий, какие вынашивал этот человек, (я назвал его Mr. Jocelyn), гуляя по улицам Парижа, и начал ее воспроизводить по памяти: как господин Jocelyn смело бросается на улице навстречу понесшейся лошади и останавливает ее; дверцы отворяются, из экипажа выходит высокопоставленная особа жмет господину Jocelyn руку и говорит ему: «Вы мой спаситель, я обязапа вам жизнью. Что я могу для вас сделать?».

Я утешал себя тем, что ту или иную неточность в передаче этой фантазии не трудно будет исправить дома, имея книгу под рукой. Но когда я перелистал «Набоба» с тем, чтобы выправить это место моей рукописи, уже готовое к печати, я, к величайшему своему стыду и смущению, не нашел там ничего похожего на такого рода мечты Mr. Jocelyn'а, да и этот бедный бухгалтер назывался совершенно иначе: Mr. Joyeuse. Эта вторая ошибка дала мне скоро ключ к выяснению моего обмана памяти, «Joyeuse»—это женский род от слова Joyeux: так именно я должен был бы перевести на французский язык свое собственное имя Freud. Откуда, стало-быть, мо-

гла взяться фантазия, которую я смутно вспомнил и приписал Додэ? Это могло быть лишь мое же произведение, сон наяву, который мне привиделся, но не дошел до моего сознания; или же дошел когда-то, но затем был основательно позабыт. Может быть, я видел его даже в Париже, где не раз бродил по улицам, одинокий, полный стремлений, весьма нуждаясь в помощнике и покровителе, пока меня не принял в свой круг *Шарко*. Автора «Набоба», я затем неоднократно видел в доме *Шарко*. Досадно в этой истории то, что вряд ли есть еще другой круг представлений, к которому я относился бы столь же враждебно, как к представлениям о протекции. То, что приходится в этой области видеть у нас на родине, отбивает всякую охоту к этому, и вообще с моим характером плохо вяжется положение протеже. Я всегда ощущал в нем необычайно много склонности к тому, чтобы «быть самому дельным человеком». И как раз я должен был получить напоминание подобного рода — никогда, впрочем, не сбывшихся — снах наяву! Кроме того, этот случай дает хороший пример тому, как задержанное — при паранойе победно пробивающееся наружу — отношение к своему «я» мешает нам и запутывает нас в объективном познании вещей.

Другой случай обмана памяти, который удалось удовлетворительно объяснить, напоминает

о так наз. «fausse reconaissance», о котором ниже (в последней главе). Я рассказал одному из моих пациентов, честолюбивому и очень способному человеку, что один молодой студент недавно написал интересную работу «Der Künstler. Versuch einer Sexualpsychologie» («Художник. Опыт сексуальной психологии») и тем ввел себя в круг моих учеников. Когда эта работа $1^1/_4$ года спустя вышла из печати, мой пациент заявил, что точно помнит, что еще до моего первого сообщения (месяцем или полугодом раньше), он видел где-то, в окне книжного магазина, кажется, объявление об этой книге. Эта заметка ему и тогда тотчас же пришла на мысль, и он кроме того констатировал, что автор изменил заглавие, потому что она называется уже не «Versuch», а «Ansätze». Тщательные справки у автора и сравнение дат показало, что мой пациент хочет вспомнить нечто невозможное. Об этой книге нигде не было объявлено до ее печатания, и уже во всяком случае не за $1^1/_4$ года до выхода в свет. Я оставил этот обман памяти без истолкования, но затем тот же господин проделал аналогичную ошибку вторично. Он утверждал, что видел недавно в окне книжного магазина книгу об «Агорафобии», хотел ее приобрести и разыскивал ее с этой целью во всех каталогах. Мне удалось ему тогда объяснить, почему его старания

должны были остаться безуспешными. Работа об агорафобии существовала лишь в его фантазии, как бессознательное намерение, и должна была быть написана им же самим. Его честолюбие, будившее в нем желание поступить подобно тому молодому человеку и подобной же научной работой открыть себе доступ в среду учеников, породило и первый и второй обман памяти. Он сам потом вспомнил, что объявление книжного магазина, которое дало ему повод к ошибке, относилось к сочинению под заглавием «Genesis. das Gesetz der Zeugung». Что же касается до упомянутого им изменения заглавия, то оно уже относится на мой счет, так как мне самому удалось вспомнить, что я допустил эту неточность в передаче: «Versuch вместо «Ansätze».

Б. Забывание намерений.

Ни одна другая группа феноменов не пригодна в такой мере для доказательства нашего положения о том, что слабость внимания сама по себе еще не может объяснить дефектности функции, как забывание намерений. Намерение, это—импульс к действию, уже встретивший одобрение, но выполнение которого отодвинуто до известного момента. Конечно, в течение создавшегося таким образом промежутка времени может произойти такого рода

изменение в мотивах, что намерение не будет выполнено, но в таком случае оно не забывается, а пересматривается и отменяется. То забывание намерений, которому мы подвергаемся изо-дня в день во всевозможных ситуациях, мы не имеем обыкновения объяснять тем, что в соотношении мотивов появилось нечто новое; мы либо оставляем его просто без объяснения, либо стараемся объяснить его психологически, допуская, что ко времени выполнения уже не оказалось потребного для действия внимания, которое, однако, было необходимым условием для того, чтобы само намерение могло возникнуть, и которое, стало-быть, в то время имелось в достаточной для совершения этого действия степени. Наблюдение над нашим нормальным отношением к намерениям заставляет нас отвергнуть это объяснение, как произвольное. Если я утром принимаю решение, которое должно быть выполнено вечером, то возможно, что в течение дня мне несколько раз напоминали о нем; но возможно также, что в течение дня оно вообще не доходило больше до моего сознания. Когда приближается момент выполнения, оно само вдруг приходит мне в голову и заставляет меня сделать нужные приготовления для того, чтобы исполнить задуманное. Если я, отправляясь гулять, беру с собой письмо, которое нужно отправить, то

мне, как нормальному и не нервному человеку, нет никакой надобности держать его всю дорогу в руке и высматривать все время почтовый ящик, куда бы его можно было опустить; я кладу письмо в карман, иду своей дорогой и рассчитываю на то, что один из ближайших почтовых ящиков привлечет мое внимание и побудит меня опустить руку в карман и вынуть письмо Нормальный образ действия человека, принявшего известное решение, вполне совпадает с тем, как держат себя люди, которым было сделано в гипнозе так наз «после-гипнотическое внушение на долгий срок»[1]). Обычно этот феномен изображается следующим образом: внушенное намерение дремлет в данном человеке, пока не подходит время его выполнения. Тогда оно просыпается и заставляет действовать.

В двоякого рода случаях жизни даже и профан отдает себе отчет в том, что забывание намерений никак не может быть рассматриваемо, как элементарный феномен, не поддающийся дальнейшему разложению, и что оно дает право умозаключить о наличности непризнанных мотивов. Я имею в виду: любовные отношения и военную дисциплину.— Любовник, опоздавший на свидание, тщетно будет искать оправдания пред своей дамой в

---

[1]) Ср. Bernheim. Neus Studien über Hypnotismus, Suggestion und Psychotherapie, 1892.

том, что он, к сожалению, совершенно забыл об этом. Она ему непременно ответит: «Год тому назад ты бы не забыл. Ты меня больше не любишь». Если бы он даже прибег к приведенному выше психологическому объяснению и пожелал бы оправдаться множеством дел, он достиг бы лишь того, что его дама, став столь же проницательною, как врач при психоанализе; возразила бы: «Как странно, что подобного рода деловые препятствия не случались раньше». Конечно и она тоже не подвергает сомнению возможность того, что он действительно забыл; она полагает только, и не без основания, что из ненамеренного забвения можно сделать тот же вывод об известном нежелании, как и из сознательного уклонения.

Подобно этому и на военной службе различие между упущением по забывчивости и упущением намеренным принципиально игнорируется,—и не без основания. Солдату *нельзя* забыть ничего из того, что требует от него служба. И если он все-таки забывает, несмотря на то, что требование ему известно, то потому, что мотивам, побуждающим его к выполнению данного требования службы, противопоставляются другие, противоположные. Вольноопределяющийся, который при рапорте захотел бы оправдаться тем, что *позабыл* почистить пуговицы, может быть уверен в

наказании. Но это наказание ничтожно в сравнении с тем, какому он подвергся бы, если бы признался себе самому и своему начальнику в мотиве своего упущения: «Эта проклятая служба мне вообще противна». Ради этого сокращения наказания, по соображениям как бы экономического свойства, он пользуется забвением, как отговоркой, или же оно осуществляется у него в качестве компромисса.

Служение женщине, как и военная служба, требует, чтобы ничто, относящееся к ним, не было забываемо, и дает, таким образом, повод полагать, что забвение допустимо при неважных вещах; при вещах важных оно служит знаком того, что к ним относятся легко, стало быть, не признают их важности. И, действительно, наличность психической оценки здесь не может быть отрицаема. Ни один человек не забудет выполнить действий, представляющихся ему самому важными, не навлекая на себя подозрения в душевном расстройстве. Наше исследование может поэтому распространяться лишь на забывание более или менее второстепенных намерений; совершенно безразличным не может считаться никакое намерение, ибо тогда оно наверное не возникло бы вовсе.

Так же как и при рассмотренных выше расстройствах функций, я и здесь собрал и по-

пытался объяснить случаи забывания намерений, которые я наблюдал на себе самом; я нашел при этом, как общее правило, что они сводятся к вторжению неизвестных и непризнанных мотивов, или, если можно так выразиться, к *встречной воле*. В целом ряде подобных случаев я находился в положении, сходном с военной службой, испытывал принуждение, против которого еще не перестал сопротивляться, и демонстрировал против него своей забывчивостью. К этому надо добавить, что я особенно легко забываю, когда нужно поздравить кого-нибудь с днем рождения, юбилеем, свадьбой, повышением. Я постоянно собираюсь это сделать и каждый раз все больше убеждаюсь в том, что это мне не удастся. Теперь я уже решился отказаться от этого и воздать должное мотивам, которые этому противятся. Однажды, когда я был еще в переходной стадии, я заранее сказал одному другу, просившему меня отправить также и от его имени к известному сроку поздравительную телеграмму, что я забуду об обеих телеграммах; и не удивительно, что пророчество это оправдалось. В силу мучительных переживаний, которые мне пришлось испытать в связи с этим, я неспособен выражать свое участие, когда это приходится по необходимости делать в утрированной форме, ибо употребить выражение, действительно отвечающее

той небольшой степени участия, которое я испытываю,—непозволительно. С тех пор, как я убедился в том, что не раз принимал мнимые симпатии других людей за истинные, меня возмущают эти условные выражения сочувствия, хотя, с другой стороны, я понимаю их социальную полезность. Соболезнование по случаю смерти изъято у меня из этого двойственного состояния; раз решившись выразить его, я уже не забываю сделать это. Там, где импульс моего чувства не имеет отношения к общественному долгу, он никогда не подвергается забвению.

Столкновением условного долга с внутренней оценкой, в которой сам себе не признаешься, объясняются также и случаи, когда забываешь совершить действия, обещанные кому-нибудь другому в его интересах. Здесь неизменно бывает так, что лишь обещающий верит в смягчающую вину забывчивость, в то время как просящий несомненно дает себе правильный ответ: он не заинтересован в этом, иначе он не позабыл бы. Есть люди, которых вообще считают забывчивыми и потому извиняют, подобно близоруким, которые не кланяются на улице[1]). Такие люди забы-

---

1) Женщины, с их тонким пониманием бессознательных душевных переживаний обычно склонны скорее принять за оскорбление, когда их не узнают на улице и не кланяются, чем подумать о наиболее

вают все мелкие обещания, не выполняют данных им поручений, оказываются таким образом в мелочах ненадежными и требуют при этом, чтобы за эти мелкие прегрешения на них не были в претензии, т.-е. чтобы не объясняли их свойствами характера, а сводили к органическим способностям. Я сам не принадлежу к числу этих людей и не имел случая проанализировать поступки кого-либо из них, чтобы в выборе объектов забвения найти его мотивировку; но по аналогии невольно напрашивается предположение, что здесь мотивом, утилизирующим конституциональный момент для своих целей, является необычайно крупная доля пренебрежения к другому человеку.

В других случаях мотивы забвения не так легко обнаруживаются и, раз будучи найдены, возбуждают немалое удивление. Так, я заметил в прежние годы, что при большом количестве визитов к больным, я, если забываю о каком-нибудь визите, то лишь о бесплатном пациенте или посещении коллеги. Это было стыдно, и я приучил себя отмечать себе еще утром предстоящие в течение дня визиты. Не знаю, пришли ли другие врачи тем же путем

правдоподобном об'яснении, что провинившийся близорук или задумался и не заметил. Они полагают, что их бы уже заметили, если бы только интересовались ими.

к этому обыкновению. Но начинаешь понимать, что заставляет, так называемого неврастеника отмечать у себя в пресловутой «записке» все то, что он собирается сообщить врачу. Объясняют это тем, что он не питает доверия к репродуцирующей способности своей памяти. Конечно, это верно, но дело происходит обыкновенно следующим образом. Больной чрезвычайно обстоятельно излагает свои жалобы и вопросы; окончив, делает минутную паузу, затем вынимает записку и говорит, извиняясь: я записал себе здесь кое-что, так как я все позабываю. Обычно он не находит в записке ничего нового. Он повторяет каждый пункт и отвечает на него сам: да, об этом я уже спросил. Повидимому, он лишь демонстрирует своей запиской один из своих симптомов: то именно обстоятельство, что его намерение часто расстраиваются в силу вторжения темных мотивов.

Я коснусь дефектов, которыми страдает большинство здоровых людей, которых я знаю, если признаюсь, что я сам, особенно в прежние годы, очень легко и на очень долгое время забывал возвращать одолженные книги, или что мне с особенной легкостью случалось, в силу забывчивости, откладывать уплату денег. Недавно я ушел как-то утром из табачной лавки, в которой сделал себе свой запас сигар на этот день, не расплатившись. Это

было совершенно невинное упущение, потому что меня там знают, и я мог поэтому ожидать, что на следующий день мне напомнят о долге. Но это небольшое упущение, эта попытка наделать долгов, наверное, не лишена связи с теми размышлениями на следующие темы, которые занимали меня в продолжение предыдущего дня. Вообще, что касается таких тем, как деньги и собственность, то даже у так называемых порядочных людей можно легко обнаружить следы некоторого двойственного отношения к ним. Та примитивная жадность, с какой грудной младенец стремится овладеть всеми объектами (чтобы сунуть их в рот), быть может, вообще лишь в несовершенной степени парализовалась культурой и воспитанием [1]).

[1]) Из соображений единства темы позволительно будет отступить здесь от принятого мной деления и прибавить к вышесказанному, что по отношению к денежным делам человеческая память обнаруживает особую предвзятость. Обман памяти, при котором думаешь, что уже заплатил, бывает, как я это знаю по себе, чрезвычайно упорен. Там, где стремление к наживе проявляется за пределами крупных жизненных интересов, стало быть, скорее в шутку, и где поэтому представляется полная свобода, как, напр., в карточной игре, честнейшие люди бывают склонны к ошибкам, погрешностям памяти и счета и оказываются, неведомым для них самих образом, повинными в мелких обманах. В этой свободе в немалой степени коренится психически освежающее значение игры.

Боюсь, что со всеми этими примерами я впал прямо-таки в банальность. Но я только могу радоваться, если наталкиваюсь па вещи, которые все знают и одинаковым образом понимают, ибо мое намерение в том и заключается, чтобы собирать повседневные явления и научно использовать их. Я не могу понять, почему той мудрости, которая сложилась на почве обыденного жизненного опыта, должен быть закрыт доступ в круг приобретений науки. Не различие объектов, а более строгий метод их установления и стремление ко всеобъемлющей связи составляет существенный порядок научной работы.

Поговорку о том, что в игре узнается характер человека, надо признать верной, с одним лишь дополнением: узнаются подавленные черты характера. Если у кельнеров еще бывают нечайные ошибки в счете, на них, очевидно, нужно смотреть так же.—В купеческом сословии часто можно наблюдать известное оттягивание выдачи денежных сумм—при уплате по счетам и т. п.,—которое собственно ничего не дает, и которое следует понимать только психологически, как проявление нежелания расставаться с деньгами. С наиболее интимными и менее всего выясненными побуждениями связывается и тот факт, что как раз женщины обнаруживают особенную неохоту расплачиваться с врачем. Обыкновенно, они забывают портмонэ, и потому во время визита не могут заплатить, затем систематически забывают прислать из дому гонорар, и в результате лечишь их даром—„ради их прекрасных глаз“. Они уплачивают как бы своими взглядами.

По отношению к намерениям, имеющим некоторое значение, мы в общем нашли, что они забываются тогда, когда против них восстают темные мотивы. По отношению к намерениям меньшей важности обнаруживается другой механизм забывания: встречная воля переносится на данное намерение с чего-либо другого, в силу того, что между этим «другим» и содержанием данного намерения установилась какая-либо *внешняя* ассоциация. Сюда относится следующий пример. Я люблю хорошую пропускную бумагу и собираюсь сегодня после обеда, идя во внутреннюю часть города, закупить себе новый запас. Однако в течение четырех дней под-ряд я об этом забываю, пока не задаю себе вопроса о причине этого. Нахожу ее без труда, вспомнив, что если в письме обозначаю пропускную бумагу словом «Löschpapier», то говорю я обыкновенно «Fliesspapier» «Fliess» же—имя одного из моих друзей в Берлине, подавшего мне в эти дни повод к мучительным мыслям и заботам. Отделаться от этих мыслей я не могу, но склонность к отпору проявляется, переносясь вследствие созвучия слов на безразличное и потому менее устойчивое намерение.

В следующем случае отсрочки—непосредственная встречная воля совпадает с более определенной мотивировкой. Я написал для издания «Grenzfragen des Nerven - und Seelen-

lebens» небольшую статью о сне, резюмирующую мое «Толкование снов». Г. Бергман посылает мне из Висбадена корректуру и просит ее просмотреть немедленно, так как хочет издать этот выпуск еще до Рождества. В ту же ночь я выправляю корректуру и кладу ее на письменный стол, чтобы взять с собой утром. Утром я, однако, забываю о ней и вспоминаю лишь после обеда при виде бандероли, лежащей на моем столе. Точно так же забываю я о корректуре и после обеда, вечером и на следующее утро; наконец, я беру себя в руки и на следующий день после обеда опускаю ее в почтовый ящик, недоумевая, каково могло бы быть основание этой отсрочки. Очевидно, я ее не хочу отправить, не знаю только почему. Во время этой же прогулки я отправляюсь к своему венскому издателю, который издал также мое «Толкование снов», делаю у него заказ, и вдруг, как бы под влиянием какой-то внезапной мысли, говорю ему: «Вы знаете, я написал «Толкование снов» вторично».—«О, я просил бы вас тогда...»—«Успокойтесь, это лишь небольшая статья для издания «Löwenfeld-Kurella». Он все-таки был недоволен, боялся, что статья эта повредит сбыту книги. Я возражал ему и, наконец, спросил: «Если бы я обратился к вам раньше, вы бы запретили мне издать эту вещь?»—«Нет, ни в коем случае». Я и сам думаю, что имел

полное право так поступить, и не сделал ничего такого, что не было бы принято; но мне представляется бесспорным, что сомнение, подобное тому, какое высказал мой издатель, было мотивом того, что я оттягивал отправку корректуры. Сомнение это было вызвано другим, более ранним случаем, когда у меня были неприятности с другим издателем из-за того, что я по необходимости перенес несколько страниц из моей работы о церебральном параличе у детей, появившейся в другом издательстве, в статью, написанную на ту же тему для справочной книги *Нотнагеля*. Но и тогда упреки были несправедливы; и тогда я вполне лойяльно известил о своем намерении первого издателя. Восстанавливая далее свои воспоминания, я припоминаю еще один случай, когда при переводе с французского я, действительно, нарушил права автора. Я снабдил перевод примечаниями, не испросив на то согласия автора, и спустя несколько лет имел случай убедиться, что автор был недоволен этим самоуправством.

По-немецки есть поговорка, выражающая ходячую истину, что забывание чего-нибудь никогда не бывает случайным.

Забывание объясняется иногда также и тем, что можно было бы назвать «ложными намерениями». Однажды, я обещал одному моло-

дому автору дать отзыв о его небольшой работе, но в силу внутренних, неизвестных мне противодействий, все откладывал, пока, наконец, уступая его настояниям, не обещал, что сделаю это в тот же вечер. Я, действительно, имел вполне серьезное намерение так и поступить, но забыл о том, что на тот же вечер было назначено составление другого, неотложного отзыва. Я понял, благодаря этому, что мое намерение было ложно, перестал бороться с испытываемым мной противодейдействием и отказал автору.

VIII.

Действия, совершаемые по ошибке.

Заимствую еще одно место из ценной работы Мерингера и Майера (стр. 98).

«Обмолвки не являются чем-либо единственным в своем роде. Они соответствуют погрешностям, часто наблюдаемым и при других функциях человека и обозначаемым, довольно бессмысленно, словом «забывчивость».

Таким образом не я первый заподозрил в мелких функциональных расстройствах повседневной жизни здоровых людей смысл и преднамеренность.

Если подобное объяснение допускают погрешности речи — а речь ведь не что иное, как моторный акт, — то легко предположить, что те же ожидания оправдаются и в применении к погрешностям прочих наших моторных отправлений. Я различаю здесь две группы явлений: все те случаи, где самым существенным представляется ошибочный эффект, стало быть уклонение от намерения, я обозначаю термином «Vergreifen»—«*действия, совершаемые по ошибке*», другие же, в которых скорее весь образ действий представляется

нецелесообразным, я называю «симптоматическими и случайными действиями». Деление это не может быть проведено с полной строгостью; мы вообще начинаем понимать, что все деления, употребляемые в этой работе, имеют лишь описательную ценность и противоречат внутреннему единству наблюдаемых явлений.

В психологическом понимании «ошибочных действий» мы, очевидно, не подвинемся вперед, если отнесем их в общую рубрику атаксии и специально «атаксии мозговой коры». Попытаемся лучше свести отдельные случаи к определяющим их условиям. Я обращусь опять к примерам из моего личного опыта, не особенно, правда, частым у меня.

а) В прежние годы, когда я посещал больных на дому еще чаще, чем теперь, нередко случалось, что придя к двери, в которую мне следовало постучать или позвонить, я доставал из кармана ключ от моей собственной квартиры, с тем, чтобы опять спрятать его, едва ли не со стыдом. Сопоставляя, у каких больных это бывало со мной, я должен признать, что это ошибочное действие—вынуть ключ вместо того, чтобы позвонить—означало известную похвалу тому дому, где это случалось. Оно было равносильно мысли: «здесь я чувствую себя, как дома», ибо происходило лишь там, где я полюбил больного. (У двери моей собственной квартиры я, конечно, ни-

когда не звоню). Ошибочное действие было, таким образом, символическим выражением мысли, в сущности, не предназначавшейся к тому, чтобы быть серьезно, сознательно допущенной, так как на деле психиатр прекрасно знает, что больной привязывается к нему лишь на то время, пока ожидает от него чего-нибудь, и что он сам, если и позволяет себе испытывать чрезмерно живой интерес к пациенту, то лишь в целях оказания психической помощи.

б) В одном доме, в котором я шесть лет кряду дважды в день в определенное время стою у дверей второго этажа, ожидая, пока мне отворят, мне случилось за все это долгое время два раза (с небольшим перерывом) взойти этажем выше, «забраться чересчур высоко». В первый раз я испытывал в это время честолюбивый «сон наяву», грезил о том, что «подымаюсь все выше и выше». Я не услышал даже, как отворилась соответствующая дверь, когда я уже начал всходить на первые ступеньки третьего этажа. В другой раз я прошел слишком далеко, тоже «погруженный в мысли»; когда я спохватился, вернулся назад и попытался схватить владевшую мной фантазию, то я нашел, что я сердился по поводу (воображаемой) критики моих сочинений, в которой мне делался упрек, что я постоянно «иду слишком далеко», упрек,

который у меня мог связаться с не особенно почтительным выражением: «занесся слишком высоко».

в) На моем столе долгие годы лежат рядом перкуссионный молоток и камертон. Однажды, по окончании приемного часа, я тороплюсь уйти, потому что хочу поспеть к определенному поезду городской железной дороги, кладу средь белого дня в карман сюртука, вместо молотка, камертон и лишь благодаря тому, что он оттягивает мне карман, замечаю свою ошибку. Кто не привык задумываться над такими мелочами, несомненно, объяснит, назвав эту ошибку спешкой. Однако, я предпочел поставить себе вопрос, почему я все-таки взял камертон вместо молотка. Спешка могла точно также служить мотивом и к тому, чтобы взять сразу нужный предмет, чтобы не терять времени на обмен.

Кто был последним, державшим в руках камертон—вот вопрос, который напрашивается мне здесь. Его держал на-днях *идиот*-ребенок, у которого я исследовал степень внимания к чувственным ощущениям, которого камертон в такой мере привлек к себе, что мне лишь с трудом удалось его отнять, ибо же, это должно означать, что я идиот? Как-будто бы и так, то первое, что ассоциирует у меня со словом «молоток» (Hammer) это—«Хамер», по древне-еврейски: «осел».

Что должна означать эта брань? Надо рассмотреть ситуацию. Я спешу на консультацию в местность, лежащую при западной железной дороге, к больному, который, согласно сообщенному мне письменно анамнезу, несколько месяцев тому назад упал с балкона, и с тех пор не может ходить. Врач, приглашающий меня, пишет, что он не может все же определить, повреждение ли здесь спинного мозга, или травматический невроз—истерия. Это мне и предстоит решить. Здесь, стало быть, уместно будет напоминание—соблюдать особую осторожность в этом тонком диференциальном диагнозе. Мои коллеги и без того думают, что мы слишком легкомысленно ставим диагноз истерии в то время, когда на самом деле, имеется налицо нечто более серьезное. Но мы все еще не видим достаточных оснований для брани! Да, надо еще добавить, что на той же самой железнодорожной станции я видел несколько лет тому назад молодого человека, который со времени одного сильного переживания не мог как следует ходить. Я нашел у него тогда истерию, подверг его психическому лечению, и тогда оказалось, что если мой диагноз и не был ошибочен, то он не был и верен. Целый ряд симптомов у больного носил характер истерический, и по мере лечения, они действительно быстро исчезали. Но за ними обна-

ружился остаток, не поддавшийся терапии и оказавшийся множественным склерозом. Врачи, видевшие больного после меня, без труда заметили органическое поражение; я же вряд ли мог бы иначе действовать и судить; но впечатление у меня все-таки осталось, как о тягостной ошибке; я обещал вылечить больного, и, конечно, не мог сдержать этого обещания. Таким образом ошибочное движение, которым я схватился за камертон вместо молотка, могло быть переведено следующим образом: идиот, осел ты этакий, возьми себя в руки на этот раз и не поставь опять диагноза истерии, где дело идет о неизлечимой болезни, как это уже случилось раз в той же местности с этим несчастным человеком! К счастью для этого маленького анализа, если и к несчастью для моего настроения, этот самый человек, страдавший тяжелым мастическим параличем, был у меня на приеме всего несколькими днями раньше, на следующий день после идиота-ребенка.

Нетрудно заметить, что на этот раз в ошибочном действии дал о себе знать голос самокритики. Для такого рода роли—упрека самому себе—ошибочные действия особенно пригодны. Ошибка, совершенная здесь, изображает собою ошибку, сделанную где-либо в другом месте.

г) Само собой разумеется, что действия, совершаемые по ошибке, могут служить также и целому ряду других темных намерений. Вот пример этого. Мне очень редко случается разбивать что-нибудь. Я не особенно ловок, но в силу анатомической нетронутости моих нервомускульных аппаратов у меня, очевидно, нет данных для совершения таких неловких движений, которые привели бы к нежелательным результатам. Так что я не могу припомнить в моем доме ни одного предмета, который бы я разбил. В моем рабочем кабинете тесно, и мне часто приходилось в самых неудобных положениях перебирать античные вещи из глины и камня, которых у меня имеется маленькая коллекция; так что бывшие при этом лица выражали опасение, как бы я не уронил и не разбил чего-нибудь. Однако этого никогда не случалось. Почему же я бросил на пол и разбил мраморную крышку моей простой чернильницы?

Мой письменный прибор состоит из мраморной подставки с углублением, в которое вставляется стеклянная чернильница; на чернильнице—крышка с шишечкой, тоже из мрамора. За письменным прибором расставлены бронзовые статуэтки и терракотовые фигурки. Я сажусь за стол, чтобы писать, делаю рукой, в которой держу перо, замечательно неловкое движение по направлению

от себя и сбрасываю на пол уже лежавшую на столе крышку. Объяснение найти не трудно. Несколькими часами раньше в комнате была моя сестра, зашедшая посмотреть некоторые вновь приобретенные мной вещи. Она нашла их очень красивыми, и сказала затем: «Теперь твой письменный стол имеет, действительно, красивый вид, только письменный прибор не подходит к нему. Тебе нужен другой, более красивый». Я проводил сестру и лишь несколькими часами позже вернулся назад. И тогда я, повидимому, произвел экзекуцию над осужденным прибором. Заключил ли я из слов сестры, что она решила к ближайшему празднику подарить мне более красивый прибор, и я разбил некрасивый старый, чтобы заставить ее исполнить намерение, на которое она намекнула? Если это так, то движение, которым я швырнул крышку, было лишь мнимо-неловким; на самом деле, оно было в высшей степени ловким, било в цель и сумело пощадить и обойти все более ценные объекты, находившиеся поблизости.

Я думаю, в самом деле, что именно такого взгляда и следует держаться по отношению к целому ряду, якобы, случайных, неловких движений. Верно, что они несут на себе печать насилия, швыряние, чего-то вроде спастической атаксии, но они обнаруживают вместе с тем, известное намерение и попа-

дают в цель с уверенностью, которою не всегда могут похвастаться и заведомо произвольные движения. Обе эти отличительные черты—характер насилия и меткость—они, впрочем, разделяют с моторными проявлениями истерического невроза, отчасти и с моторными актами сомнамбулизма, что, надо полагать, указывает здесь, как и там, на одну и ту же неизвестную модификацию иннервационного процесса.

В последние годы, с тех пор, как я начал собирать такого рода наблюдения, мне случалось еще несколько раз разбивать или ломать предметы, имеющие известную цену, но исследование этих случаев убедило меня, что это ни разу не было действием простого случая или ненамеренной неловкости. Так, однажды утром, проходя по комнате в купальном костюме, с соломенными туфлями на ногах, я, повинуясь внезапному импульсу, швырнул одну из туфель об стену так, что она свалила с консоли красивую маленькую мраморную Венеру. Статуэтка разбилась вдребезги, я же в это время преспокойным образом стал цитировать стихи Буша:

«Ach! Die Venus ist perdü—
Klickeradoms!—Von Medici!»

Эта дикая выходка и спокойствие, с которым я отнесся к тому, что натворил, объ-

ясняются тогдашним положением вещей. У нас в семействе была тяжело больная, в выздоровлении которой я в глубине души уже отчаялся. В это утро я узнал о крупном улучшении и знаю, что я сам сказал себе: значит, она все-таки будет жить. Охватившая меня затем жажда разрушения послужила мне средством выразить благодарность судьбе и произвести известного рода *«жертвенное действие»*, словно я дал обет: если она выздоровеет, я принесу в жертву тот или иной предмет! Если я для этой жертвы выбрал как раз Венеру Медицийскую, то в этом должен заключаться, очевидно, галантный комплимент больной; но непонятным остается мне и на этот раз, как это я так быстро решился, так ловко метил и не попал ни в один из стоявших в ближайшем соседстве предметов.

Другой случай, когда я опять-таки воспользовался пером, выпавшим из моей руки, для того, чтобы разбить одну вещицу, имел тоже значение жертвы, но на этот раз *просительной жертвы*, стремившейся отвратить нечто грозящее. Я позволил себе раз сделать моему верному и заслуженному другу упрек, основывавшийся исключительно на толковании известных симптомов его бессознательной жизни. Он обиделся и написал письмо, в котором просил меня не подвергать моих друзей психо-анализу. Пришлось признать, что он

прав, и я написал ему успокоительный ответ. В то время, как я писал это письмо, предо мной стояло мое новейшее приобретение,—великолепно глазированная египетская фигурка. Я разбил ее указанным выше способом, и тотчас же понял, что я сделал это, чтобы избежать другой, большей беды. К счастью, и статуэтку, и дружбу удалось вновь скрепить так, что трещина стала совершенно незаметной.

Третий случай находится в менее серьезной связи; это была лишь, употребляя выражение Th. Vischer'а замаскированная «экзекуция» над объектом, который мне перестал нравиться. Я некоторое время носил палку с серебряным набалдашником; как-то раз, не по моей вине, тонкая серебряная пластинка была повреждена и плохо починена. Вскоре после того, как палка вернулась ко мне, я зацепил, играя с детьми, набалдашником за ногу одного из ребят; при этом он, конечно, сломался пополам, и я был от него избавлен.

То равнодушие, с которым во всех этих случаях относишься к причиненному ущербу, может служить доказательством, что при совершении этого действия имелось налицо бессознательное намерение.

Случаи, когда роняешь, опрокидываешь, разбиваешь, что-либо служат, повидимому, очень часто проявлением бессознательных мыслей;

иной раз это можно доказать анализом, но чаще об этом можно догадываться по тем суеверным или шуточным толкованиям, которые связываются с подобного рода действиями в устах народа. Известно, какое толкование дается, например, когда кто-нибудь просыплет соль или опрокинет стакан с вином, или уронит нож, так чтобы он воткнулся стоймя и т. д. О том, в какой мере эти суеверные толкования могут претендовать на признание, я буду говорить ниже; здесь будет лишь уместно заметить, что отдельный неловкий акт отнюдь не имеет постоянного значения; смотря по обстоятельствам он употребляется, как средство выражения того или иного намерения.

Когда прислуга роняет и уничтожает, таким образом, хрупкие предметы, то, наверное, никто не подумал при этом, прежде всего, о психологическом объяснении, и, однако, здесь тоже не лишена вероятности некоторая доля участия темных мотивов. Ничто так не чуждо необразованным людям, как способность ценить искусство и художественные произведения. Наша прислуга охвачена чувством глухой вражды по отношению к этим предметам, особенно тогда, когда вещи, ценности которых она не видит, становятся для нее источником труда. Люди того же происхождения и стоящие на той же ступени образования,

нередко обнаруживают в научных учреждениях большую ловкость и надежность в обращении с хрупкими предметами, — но это бывает тогда, когда они начинают отождествлять себя с хозяином и причислять себя к главному персоналу данного учреждения.

Когда случается уронить самого себя, оступиться, поскользнуться, — это тоже не всегда нужно толковать непременно, как случайный дефект моторного акта. Двусмысленность самых этих выражений (eine Fehltritt machen — оступиться и сделать ложный шаг) указывает уже на то, какой характер могут иметь скрытые фантазии, проявляющиеся в этой потере телесного равновесия. Я вспоминаю целый ряд легких нервных заболеваний у женщин и девушек, которые наступают после падения без поранения и рассматриваются, как травматическая истерия, вызванная испугом при падении. Я уже тогда выносил такое впечатление, что связь между событиями здесь иная, что само падение было как бы подстроено неврозом и служило выражением тех же бессознательных фантазий с сексуальным содержанием, которые скрываются за симптомами и являются движущими силами их. Не это ли имеет в виду и пословица: «когда девица падает, то падает на спину?»

К числу ошибочных движений можно отнести также и тот случай, когда даешь нищему—

вместо меди и серебра—золотую монету. Разрешение подобных случаев легко: это жертвенные действия, предназначенные для того, чтобы умилостивить судьбу, отвратить бедствие и т. д. Если этот случай произошел с нежной матерью или теткой и если непосредственно пред прогулкой, в течение которой она проявила эту невольную щедрость, она высказала опасение о здоровьи ребенка, то можно не сомневаться насчет смысла этой якобы досадной случайности. Этим путем акты, совершаемые по ошибке, дают нам возможность выполнять все те благочестивые и суеверные обычаи, которые, в силу сопротивления, которое оказывает им наш неверующий разум, вынуждены бояться света сознания.

д) Положение о том, что случайные действия являются, в сущности, преднамеренными, вызовет меньше всего сомнений в области сексуальных проявлений, где граница между этими обеими категориями, действительно, стирается. Несколько лет тому назад я испытал на самом себе прекрасный пример того, как неловкое, на первый взгляд, движение может быть самым утонченным образом использовано для сексуальных целей. В одном близко знакомом мне доме я встретился с приехавшей туда в гости молодой девушкой; когда-то я был к ней несовсем равнодушен,

и хотя я считал это делом давно минувшим, все же ее присутствие сделало меня веселым, разговорчивым и любезным. Я тогда уже задумался над тем, каким образом это случилось; годом раньше я отнесся к этой же девушке с полным равнодушием. В это время в комнату вошел ее дядя, очень старый человек, и мы оба вскочили, чтобы принести ему стоявший в углу стул. Она была быстрее меня,—и, вероятно, ближе к объекту,—схватила кресло первая и понесла, держа его перед собою спинкой назад и, положив обе руки на ручки кресла. Так как я подошел позже и все же не оставил намерения отнести кресло, то оказался вдруг вплотную позади нее и охватил ее сзади наперед руками так, что на момент они сошлись впереди, у ее бедер, конечно, я прекратил это положение столь же быстро, как оно создалось. Повидимому, никто и не заметил, как ловко я использовал это неловкое движение.

При случае мне приходилось убедиться и в том, что те досадные, неловкие движения, которые делаешь, когда хочешь на улице уступить дорогу и в течение нескольких секунд топчешься то вправо, то влево, но всегда в том же направлении, что и твой vis-a-vis, пока, наконец, не останавливаются оба, что и в этих движениях, которыми «заступаешь дорогу», повторяются непристойные, вызы-

вающие действия ранних лет и под маской неловкости преследуются сексуальные цели. Из психоанализов, производимых мной над невротиками, я знаю, что так называемая наивность молодых людей и детей часто бывает лишь такого рода маской, для того, чтобы иметь возможность без стеснения говорить или делать неприличные вещи.

Совершенно аналогичные наблюдения над самим собой сообщает W. Stekel. «Я вхожу в дом и подаю хозяйке руку. Удивительным образом я при этом развязываю шарф, стягивающий ее свободное утреннее платье. Я не знаю за собой никакого нечестного намерения и все же совершаю это неловкое движение с ловкостью карманщика».

e) Эффект, создающийся в результате ошибочных действий нормальных людей, носит обыкновенно безобидный характер. Тем больший интерес вызывает вопрос, можно ли в каком-нибудь отношении распространить наш взгляд на такие случаи ошибочных действий, которые имеют более важное значение и сопровождаются серьезным последствием, как, например, ошибки врача или аптекаря.

Так как мне очень редко случается подавать врачебную помощь, то я могу привести лишь один пример из собственной практики. У одной очень старой дамы, которую я в течение ряда лет посещаю ежедневно дважды

в день, моя медицинская деятельность ограничивается утром двумя актами: капаю ей в глаз несколько капель глазной воды и делаю вспрыскивание морфия. Для этого всегда стоят наготове две бутылочки: синяя—для глазных капель и белая—с раствором морфина. Во время обоих актов мои мысли обычно заняты чем-либо другом; я проделывал это столько раз, что мое внимание чувствует себя как бы свободным. Однажды утром я заметил, что автомат работал неправильно. Пипетка вместо синей бутылки погрузилась в белую и накапала в глаза не глазные капли, а морфин. Я сильно испугался, но затем рассудил, что несколько капель двухпроцентного раствора морфина не могут повредить и коньюнктивальному мешку,—и успокоился. Очевидно, ощущение страха должно было исходить из какого-нибудь другого источника.

При попытке подвергнуть анализу этот маленький ошибочный акт, мне, прежде всего, пришла в голову фраза, которая могла указать прямой путь к решению: «sich an der Alten vergreifen» («поднять руку на старуху»; глагол «vergreifen» означает, вместе с тем, и «совершить ошибочное действие», буквально: «взять не то»). Я находился под впечатлением сна, который мне рассказал накануне вечером один молодой человек и содержание которого могло бы быть истолковано лишь в

смысле полового сожительства с собственной матерью [1]). То странное обстоятельство, что сказание не останавливается пред возрастом царицы Иокасты, вполне подтверждает, думалось мне, тот вывод, что при влюбленности в собственную мать дело никогда не идет о ее личности в данный момент, а ю юношеском образе, сохранившемся в воспоминаниях детства. Подобного рода несообразности получаются всегда в тех случаях, когда колеблющаяся между двумя периодами времени фантазия становится сознательной и в силу этого прикрепляется к определенному времени. Погруженный в такого рода мысли, я и пришел к своей пациентке, старухе за 90 лет, и, очевидно, был на пути к тому, чтобы в общечеловеческом характере сказания об Эдипе увидеть коррелат судьбы, говорящий устами оракула; ибо я затем совершил ошибочное действие у старухи или поднял руку на старуху (Vergriff mich «bei oder an der Alten»). Однако этот инцидент носил также безобидный характер; из двух возможных ошибок—употребить раствор морфина вместо капель или вспрыснуть глазные

[1]) Это „сон Эдипа“ как я его обыкновенно называю, так как он заключает в себе ключ к пониманию сказания о царе Эдипе. В тексте у Софокла ссылка на такого рода сон вложена в уста Иокасте (Ср. «Traumdeutung», p. 185).

капли—я избрал несравненно более безобидную. И вопрос все же остается в силе: позволительно ли в случаях таких ошибочных действий, которые могут повлечь за собой большую беду, также предполагать бессознательное намерение, подобно тому, как в рассмотренных нами примерах?

Для решения этого вопроса, у меня, как и следует ожидать, нет достаточного материала. и мне приходится ограничиваться предположениями и аналогиями. Известно, что в тяжелых случаях психоневроза в качестве болезненных симптомов выступают иной раз самоповреждения, и что самоубийство, как исход психического конфликта, никогда не бывает при этом исключено. Я убедился,— и когда-нибудь возьмусь подтвердить это на вполне выясненных примерах,—что многие на вид случайные повреждения, совершаемые такими больными, в сущности, не что иное, как самоповреждения: постоянно сторожащая тенденция самобичевания, которая обычно проявляется в упреках, делаемых самому себе или же играет ту или иную роль в образовании симптомов,—эта тенденция ловко утилизирует случайно создавшуюся внешнюю ситуацию или же помогает ей создаться, пока не получится желаемый эффект—повреждение. Такие явления наблюдаются весьма нередко даже и в неособенно тяжелых случаях, а

роль, которую играет при этом бессознательное намерение, сказывается в них в целом ряде особенных черт, как, например, в том поразительном спокойствии, которое сохраняют больные при мнимом несчастии[1]).

Из медицинской практики я хочу вместо многих примеров рассказать подробно один случай. Одна молодая женщина упала из экипажа и сломала себе при этом ногу; ей приходится оставаться в постели в течение ряда недель, и при этом бросается в глаза, как мало она жалуется на боль и с каким спокойствием переносит свою беду. Со времени этого несчастного случая начинается долгая и тяжкая нервная болезнь, от которой она, в конце концов, излечивается при помощи психотерапии. Во время лечения я узнаю условия, в которых произошел этот несчастный случай, равно как и некоторые впечатления, предшествовавшие ему. Молодая женщина гостила вместе со своим мужем, очень ревнивым человеком, в имении своей замуж-

---

[1]) При современном состоянии культуры, самоповреждение, не имеющее целью полного самоуничтожения, вынуждено либо укрываться за ширмой случайности, либо прибегать к симулированию внезапного заболевания. Некогда самоповреждение было обычным выражением горя; в иные времена оно могло служить выражением набожности и отречения от мира.

ней сестры, в многолюдном обществе сестер, братьев, их мужей и жен. Однажды вечером она показала в этом интимном кругу один из своих талантов: протанцовала по всем правилам искусства канкан—к великому одобрению родных, но к неудовольствию мужа, который потом прошептал ей: ты вела себя опять, как девка. Слово это попало в цель; были ли тому виной именно танцы,— для нас неважно. Ночь она спала неспокойно. На следующее утро захотела ехать кататься. Лошадей она выбирала сама, забраковала одну пару, выбрала другую. Младшая сестра хотела взять с собой грудного ребенка с кормилицей; против этого она чрезвычайно энергично запротестовала. Во время поездки она нервничала, предупреждала кучера, как бы лошади не понесли, и когда беспокойные кони, действительно, закапризничали, выскочила в испуге из коляски и сломала себе ногу, в то время как оставшиеся в коляске вернулись целыми и невредимыми. Зная эти подробности, вряд ли можно сомневаться в том, что этот несчастный случай был, в сущности, подстроен, но, вместе с тем, нельзя не удивляться той ловкости, с какой она заставила случай применить наказание, столь соответствующее ее вине. Ибо теперь ей долгое время уже нельзя было танцовать канкан.

У себя самого я вряд ли мог бы отметить случаи самоповреждения в спокойном состоянии, но при исключительных обстоятельствах они бывают и у меня. Когда кто-нибудь из моих домашних жалуется, что прикусил себе язык, прищемил палец и т. д., то вместо того, чтобы проявить ожидаемое участие, я спрашиваю: зачем ты это сделал? Однако я сам прищемил себе очень больно палец, когда некий молодой пациент выразил у меня на приеме намерение (которого, конечно, нельзя было взять всерьез) жениться на моей старшей дочери, в то время как я знал, что она как раз находится в санатории и ее жизни угрожает величайшая опасность.

У одного из моих мальчиков очень живой темперамент, и это затрудняет уход за ним, когда он болен. Однажды утром с ним случился припадок гнева из-за того, что ему было велено остаться до обеда в кровати, и он грозил покончить с собой (он прочел о подобном случае в газете). Вечером он показал мне шишку, которую получил, стукнувшись левой стороной грудной клетки о дверную ручку. На мой иронический вопрос, зачем он это сделал и чего хотел этим добиться, одиннадцатилетний ребенок ответил словно по наитию: это была попытка самоубийства, которым я грозил утром. Не думаю, чтобы мои взгляды на самоповреждение были

тогда доступны моим детям.

Кто верит в возможность полунамеренного самоповреждения—если будет позволено употребить это неуклюжее выражение—тот будет этим самым подготовлен к другому допущению: что кроме сознательного, намеренного самоубийства существует еще и полунамеренное самоуничтожение—с бессознательным намерением, способным ловко использовать угрожающую жизни опасность и замаскировать ее под видом случайного несчастья. Это отнюдь не редкость, ибо число людей, у которых действует с известной силой тенденция к самоуничтожению, гораздо больше того числа, у которых она одерживает верх; самоповреждения—это в большинстве случаев компромисс между этой тенденцией и противодействующим ей силами; и там, где дело действительно доходит до самоубийства, там тоже склонность к этому имеется задолго раньше, но сказывается с меньшей силой или в виде бессознательной и подавленной тенденции.

Сознательное намерение самоубийства тоже выбирает себе время, средства и удобный случай; и это вполне соответствует тому, как бессознательное намерение выжидает какого-либо повода, который мог бы сыграть известную роль в ряду причин самоубийства, отвести на себя силу отпора данного лица и

тем высвободить его намерение от связывающих его сил [1]). Это отнюдь не праздные рассуждения; мне известен не один пример случайных по виду несчастий (при верховой езде или в экипаже), ближайшие условия которых оправдывают подозрение бессознательно допущенного самоубийства. Так, например, на офицерских скачках один офицер падает с лошади и получает столь тяжелые поражения, что некоторое время спустя умирает. То, как он себя держал, когда пришел в сознание, во многих отношениях странно. Еще бо-

[1]) Это в сущности то же самое, что происходит при покушениях сексуального свойства, когда женщина не может противопоставить нападению мужчины всей своей мускульной силы, ибо некоторая доля безсознательных движений ее идет навстречу нападающему. Недаром говорят, что подобное положение парализует силы женщины; остается к этому прибавить лишь основания, почему это происходит. В этом смысле остроумный приговор Санхо Пансы, в бытность его губернатором на острове, психически несправедлив (Дон-Кихот, II ч., гл. XLV). Женщина привлекает к суду мужчину, который якобы насильно обесчестил ее. Санхо дает ей в качестве возмещения кошелек, взятый у подсудимого, но после того как женщина ушла, разрешает ему догнать ее и отобрать кошелек. Оба возвращаются, борясь, обратно, и женщина хвастается, что злодей не в силах был завладеть кошельком. На это Санхо отвечает: если бы ты защищала свою честь так же серьезно, как кошелек, этот человек не мог бы тебя лишить ее.

лее заслуживает внимание его поведение до этого. Он глубоко огорчен смертью любимой матери, начинает в обществе товарищей судорожно рыдать, говорить своим близким друзьям, что жизнь ему надоела, хочет бросить службу и принять участие в африканской войне, которая, вообще говоря, его ничуть не затрагивает[1]); блестящий ездок, — он теперь избегает верховой езды, где только возможно. Наконец, перед скачками, от участия в которых он не мог уклониться, он говорит о мрачном предчувствии; что удивительного при таком состоянии, если предчувствие это сбылось? Мне скажут, что и без того понятно, что человек в такой нервной депрессии не может так же справиться с конем, как в здоровом состоянии, — вполне согласен; но механизм того моторного стеснения, которое вызывается нервозностью, я ищу в подчеркнутом здесь намерении самоубийства.

Если за случайной на первый взгляд неловкостью и несовершенством моторных актов может скрываться такое интенсивное посягательство на свое здоровье и жизнь, то остается сделать еще только шаг, чтобы най-

[1]) Что ситуация на поле сражения идет навстречу сознательному намерению самоубийства, все еще боящегося прямого пути, это ясно. Ср. в «Валленштейне» слова шведского капитана о смерти Макса Пикколомини: „Говорят, он хотел умереть".

ти возможным распространение этого взгляда на такие случаи ошибочных действий, которые серьезно угрожают жизни и здоровью других людей. Примеры, которые я могу привести в подтверждение этого взгляда, заимствованы из наблюдений над невротиками, стало быть, не вполне отвечают нашему требованию. Сообщу здесь об одном случае, в котором собственно не ошибочное действие, а то, что можно бы скорее назвать симптоматическим или случайным поступком, навело меня на след, давший затем возможность разрешить конфликт больного. Я взял раз на себя задачу улучшить супружеские отношения в семье одного очень интеллигентного человека; недоразумения между ним и нежно любящей его молодой женой, конечно, имели под собой известные реальные основания, но, как он сам признавал, не находили себе в них полного объяснения. Он неустанно носился с мыслью о разводе, но затем опять отказался от нее, так как нежно любил своих двоих детей. Все же он постоянно возвращался к этому плану, при чем, однако, не испробовал ни единого средства, чтобы сделать свое положение сколько-нибудь сносным. Подобного рода неспособность покончить с конфликтом служит мне доказательством того, что в деле замешаны бессознательные и вытесненные мотивы, которые подкрепляют

борющиеся между собою сознательные мотивы, и в таких случаях я берусь за ликвидацию конфликта путем психического анализа. Однажды муж рассказал мне про маленький инцидент, донельзя испугавший его. Он играл со своим старшим ребенком, — которого любит гораздо больше, чем второго, — поднимал его кверху и затем опускал вниз, при чем поднял на таком месте и так высоко, что ребенок почти что ударился теменем о висящую на потолке тяжелую люстру. *Почти что*, но в сущности не ударился, или чуть-чуть не ударился. Ребенку ничего не приключилось, но с испугу у него закружилась голова. Отец в ужасе остался на месте с ребенком в руках,—с матерью сделался истерический припадок. Та особенная ловкость, с какой совершенно было это неосторожное движение, интенсивность, с какой реагировали на него родители, побудили меня усмотреть в этой случайности симптоматическое действие, в котором должно было выразиться недоброе намерение по отношению к любимому ребенку. Этому противоречила нежная любовь отца к ребенку, но противоречие устранялось, стоило лишь отнести импульс повреждения к тому времени, когда это был еще единственный ребенок и когда он был так мал, что отец мог и не относиться к нему с особенной нежностью. Мне нетрудно было

предположить, что неудовлетворенный своею женою муж имел такую мысль или намерение: если это маленькое существо, для меня безразличное, умрет, я буду свободен и смогу развестись с женой. Желание смерти этого, теперь столь любимого, существа должно было таким образом бессознательно сохраниться. Отсюда нетрудно было найти путь к бессознательной фиксации этого желания. Наличность могущественного детерминирования, действительно, выяснилась из детских воспоминаний пациента, о том, что смерть маленького брата, которую мать ставила на счет небрежности отца, привела к резким столкновениям, сопровождавшимся угрозою развода. В дальнейшей истории семейной жизни моего пациента, моя комбинация нашла себе подтверждение также и в успешности терапии.

IX.

Симптоматические и случайные действия.

Описанные выше действия, в которых мы нашли выполнение того или иного намерения, выступают в форме нарушения других—преднамеренных действий и совершаются под предлогом неловкости. Те случайные действия, о которых мы будем говорить теперь, отличаются от ошибочных действий лишь тем, что они не стремятся установить связь с каким-либо сознательным намерением, и в силу этого нуждаются в предлогах. Они выступают сами по себе и не встречают сопротивления, ибо в них никто не подозревает цели и намерения. Их совершают, «ничего при этом не думая», «чисто случайно», «чтобы куда-нибудь руки деть», и рассчитывают, что такой ответ положит конец расследованию о значении этого поступка. Для того, чтобы оказаться в таком исключительном положении, действия эти, не находящие себе оправдания в неловкости, должны удовлетворить определенным условиям: не дол-

жны бросаться в глаза, и эффект их должен быть незначителен.

Я собрал значительное количество такого рода случайных действий у себя и у других, и по тщательным исследованиям отдельных примеров полагаю, что они скорее заслуживают название *симптоматических действий*. Они выражают нечто, чего в них не подозревают действующий субъект и что он обычно собирается не сообщать, а оставить при себе. Таким образом, подобно всем остальным рассмотренным выше феноменам, они играют роль симптомов.

Конечно, наиболее обильную жатву такого рода случайных или симптоматических действий мы собираем при психоаналитическом лечении невротиков. Не могу удержаться, чтобы не показать на двух почерпнутых отсюда примерах, как далеко идет и как тонко бывает проведено детерминирование этих незаметных явлений бессознательными мыслями. Грань, отделяющая симптоматические действия от ошибочных, так не четка, что эти примеры я мог бы отнести и к предыдущей главе.

а) Молодая женщина рассказывает во время визита, что ей пришло в голову: вчера, обрезывая ногти, она «порезала себе палец, в то время, когда хотела срезать тонкую кожицу у ногтя». Это настолько интересно, что с удивлением спрашиваешь себя, зачем об этом

вспоминать и говорить,—и приходишь к предположению, что имеешь дело с симптоматическим действием. И действительно, палец, с которым произошло это маленькое несчастье, был тот самый, на котором носят обручальное кольцо. Кроме того это была годовщина дня ее свадьбы, и это обстоятельство сообщает поранению тонкой кожицы вполне определенный смысл, который не трудно разгадать. Одновременно с этим она рассказывает также сон, содержащий указания на неловкость ее мужа и на анестезию ее, как женщины. Однако почему она поранила себе палец левой руки, в то время, как обручальное кольцо носят ведь на правой. Ее муж юрист—«доктор прав[1]), а когда она была девушкой, то втайне была неравнодушна к врачу (в шутку: «доктор левой»). Брак с левой стороны (левой руки) имеет (на немецком языке) тоже вполне определенное значение.

б) Молодая барышня рассказывает: «Вчера я совершенно ненарочно разорвала пополам билет в сто гульденов и дала одну половинку даме, бывшей у меня в гостях. Что, это тоже симптоматический поступок?» Более тщательное расследование обнаруживает следующие детали. Билет в сто гульденов: барышня посвя-

---

[1]) По-немецки игра слов: „доктор прав“ „доктор правой“.

щает часть своего времени и состояния делам благотворительности. Вместе с другой дамой она заботится о воспитании одного ребенка-сироты. Билет в сто гульденов это — присланный ей взнос той другой дамы, который она вложила в конверт и пока оставила у себя на письменном столе.

Посетительница была уважаемая дама, оказывающая ей содействие в других благотворительных делах. Дама эта хотела записать себе имена лиц, к которым можно обратиться за пожертвованиями. Под рукой не было бумаги, и тогда моя пациентка схватила конверт, лежавший на письменном столе, и, не думая о его содержимом, разорвала его на две части, из которых одну оставила у себя, чтобы оставить у себя копию списка, а другую передала своей посетительнице. Замечателен безобидный характер этого нецелесообразного поступка. Как известно, ассигнация не теряет цены, будучи разорвана, если только из остатков можно составить ее всю целиком. Что дама не выбросила бы этого куска бумаги, тому была порукой важность записанных имен; не могло быть также сомнения и в том, что она вернет ценное содержимое конверта, лишь только заметит.

Какое же бессознательное намерение должно было выразиться в этом случайном, совершен-

ном по забывчивости действии? Посетительница имела вполне определенное отношение к нашему курсу лечения. Это она в свое время отрекомендовала меня больной девушке, как врача, и, если я не ошибаюсь, моя пациентка считает себя в долгу перед ней за этот совет. Не должна ли была половинка ассигнации изображать нечто вроде гонорара за посредничество? Все же это было бы в достаточной мере странно.

Однако к этому присоединяется еще и материал иного рода. За несколько дней до этого посредница совершенно иного свойства запросила у одной родственницы, не угодно ли будет барышне познакомиться с неким господином; и в то же утро, о котором идет речь, за несколько часов до посещения дамы, получилось от этого господина письмо, в котором он сделал моей пациентке предложение; по этому поводу много смеялись. Когда затем дама начала разговор с вопроса о здоровье моей пациентки, эта последняя могла подумать: «подходящего врача ты мне отрекомендовала, но если бы ты могла помочь мне найти подходящего мужа (а за этим скрывалось: получить ребенка), я была бы тебе все же более благодарна». В силу этой вытесненной мысли обе посредницы слились для нее воедино, и она вручила своей посетительнице гонорар, предназначавшийся в ее фантазии для другой. Это

решение станет вполне убедительным, если добавить, что не далее, как накануне вечером, я ей рассказал про такого рода случайные или симптоматические действия. Она воспользовалась первым же случаем, чтобы сделать нечто аналогичное.

Все эти в высшей степени распространенные случайные и симптоматические действия можно было бы разделить на две группы, в зависимости от того, происходят ли они в силу привычки, регулярно при известных обстоятельствах, или же являются актами единичными. Первые (человек играет цепочкой от часов, щиплет бороду и т. п.), являющиеся едва ли не характерными для данного лица вообще, близко соприкасаются с разнообразными формами тика и подлежат рассмотрению в связи с ними. Ко второй группе я отношу такие явления, как, например: человек играет палкой, оказавшейся у него в руках, марает карандашом, подвернувшимся под руку, бренчит монетами в кармане, лепит из теста или какого-либо другого пластического материала, теребит свое платье и т. д. За этими различными видами игры систематически обнаруживается при психическом анализе известный смысл и значение, не находящие себе иного пути. Обыкновенно данное лицо и не подозревает о том, что оно нечто подобное делает, или что оно так или

иначе видоизменяет свои обычные жесты; оно не слышит и не видит также и эффекта этих действий. Оно не слышит, например, шума, который производит, побрякивая монетами в кармане, и выражает удивление и недоверие, когда на это обращают его внимание. Полно значения и заслуживает внимания врача также и все то, что человек часто, сам того не замечая, проделывает со своим платьем. Каждое видоизменение обычного костюма, мелкая неряшливость—скажем, незастегнутая пуговица,—каждый след обнажения, все это выражает нечто, чего владелец платья не хочет сказать прямо или в большинстве случаев даже и не может выразить. Толкование этих мелких случайных действий, равно как и доказательства для этого толкования, вытекают каждый раз с достаточной убедительностью из сопутствующих условий, в которых происходил данный визит, из темы разговора, из тех мыслей, которые приходят в голову данному лицу, когда его внимание обращается на его якобы случайный поступок. В данной связи я воздержусь от того, чтобы подкреплять мои утверждения примерами и анализом их; упоминаю все же об этих вещах потому, что полагаю, что и в применении к нормальным людям они имеют то же значение, что и для моих пациентов.

Из моего психотерапевтического опыта я

могу привести случай, когда красноречивое показание было дано рукой, игравшей хлебным шариком. Моим пациентом был мальчик, еще не достигший 13 лет, но уже два года страдавший истерией в тяжелой форме; продолжительное пребывание в водолечебнице оказалось безрезультатным, и я взял его, наконец, к себе для психоаналитического лечения. Я предполагал, что он должен был столкнуться с теми или иными явлениями сексуального характера, и что сообразно с его возрастом его должны были мучить половые вопросы; я воздерживался, однако, от того, чтобы притти ему на помощь своими разъяснениями, так как хотел еще раз проверить свои предпосылки. Меня интересовало, каков будет тот путь, которым обозначится у него искомое.

Мне бросилось тогда в глаза, что он однажды катал что-то пальцами правой руки, засунул затем в карман, продолжал там играть, потом опять вытащил и т. д. Я не спрашивал, что у него в руке; однако он сам показал мне это, раскрыв вдруг руку. Это был хлебный мякиш, смятый в комок. В следующий раз он опять принес с собой такой комок, и в то время, как мы беседовали, он лепил из него с невероятной быстротой, закрыв глаза, фигуры, которые меня заинтересовали. Это были несомненно человечки, с головой, двумя руками, двумя ногами,—нечто вроде грубейших доисто-

рических идолов; между ногами у них он оставлял отросток, который он вытягивал в виде длинного острия. Закончив отросток, мальчик тотчас же вновь комкал человечка; впоследствии он его оставлял, но вытягивал такой же отросток на спине и других местах, чтобы скрыть значение первого. Я хотел ему показать, что понял его, но при этом устранить возможность отговорки насчет того, что он, мол, при этой лепке человечков ни о чем не думает. С этой целью я спросил его внезапно, помнит ли он историю римского царя, который дал посланнику своего сына ответ в саду путем пантомимы. Мальчик не хотел этого припомнить, хотя должен был учить об этом несравненно позднее меня. Он спросил, не история ли это с рабом, у которого написали ответ на гладко выбритом черепе. Нет, это относится к греческой истории,—ответил я и стал рассказывать. Царь Тарквиний Гордый велел своему сыну Сексту пробраться во враждебный латинский город. Сын, успевший завербовать себе сторонников в этом городе, послал к царю гонца с вопросом, что ему делать дальше. Царь ничего не ответил, пошел в сад, велел там повторить вопрос и молча стал сбивать самые большие и красивые головки мака. Гонцу не осталось ничего другого, как рассказать об этом Сексту, который понял отца и нашел удобный случай,

чтобы убить наиболее видных граждан города.

В то время, как я говорил, мальчик перестал лепить, и когда я еще только начал рассказывать о том, что сделал царь в своем саду, то уже при словах «молча стал сбивать», он с молниеносно быстрым движением оторвал своему человеку голову. Стало быть он меня понял и заметил, что понят мною. Теперь я могу прямо поставить ему вопросы, дал нужные ему разъяснения, и в течение короткого времени мы покончили с неврозом.

Симптоматические действия, которые можно наблюдать в неисчерпаемом изобилии у здоровых, как и у больных людей, заслуживают нашего внимания по многим причинам. Врачу они служат часто ценными указаниями для ориентировки в новых или недостаточно знакомых ему условиях; наблюдателю человеческой жизни они говорят нередко все, иной раз даже больше, чем он сам хотел бы знать. Кто умеет их ценить, должен иной раз походить на царя Соломона, который, по словам восточного сказания, понимал язык зверей. Однажды, я должен был подвергнуть медицинскому осмотру незнакомого мне молодого человека в доме его матери. Когда он вышел мне навстречу, мне бросилось в глаза на его брюках большое пятно белка, которое можно узнать по особым затверделым краям. После

нескольких секунд смущения молодой человек стал оправдываться, что он охрип и выпил поэтому сырое яйцо, при чем несколько капель жидкого белка, очевидно, и вылились на его брюки; в подтверждение этого он мог показать мне яичную скорлупу, которая еще осталась на тарелке в той же комнате. Таким образом, подозрительное пятно было объяснено самым безобидным образом; однако когда его мать оставила нас одних, я поблагодарил его за то, что он так облегчил мне диагноз, и без дальнейших вопросов взял за основу нашего разговора его признание, что он страдает мастурбацией. Другой раз, я посетил на дому некую столь же богатую, сколько скупую и глупую даму, ставившую обычно пред врачом задачу прокладывать себе дорогу чрез целое полчище жалоб, пока не доберешься до самого простого объяснения ее положения. Когда я вошел, она сидела за небольшим столом и занималась тем, что раскладывала кучками серебряные гульдены; когда она поднялась, несколько монет упали на пол. Я помог ей подобрать их и, когда она стала рассказывать о своих бедствиях, скоро перебил ее вопросом: стало-быть ваш знатный зять опять вверг вас в расход? Она с озлоблением отрицала это—с тем, чтобы несколькими минутами спустя рассказать мне досадную историю о том, как ее взволновала расточитель-

ность зятя. С тех пор она меня уже больше не приглашала. Не могу сказать, чтобы с теми, кому объясняешь значение их симптоматических действий, всегда устанавливались дружеские отношения.

Случайные и симптоматические действия, относящиеся к области супружеских отношений, имеют зачастую самое серьезное значение и могли бы заставить человека, не желающего считаться с психологией бессознательного,—уверовать в примеры. Когда молодая женщина во время свадебного путешествия теряет свое обручальное кольцо,—это дурное начало; впрочем, обыкновенно оказывается, что она куда-нибудь заложила его и потом находит.—Я знаю одну даму,—теперь она уже развелась с мужем,—которая сплошь да рядом подписывала свои бумаги—по делам имущества—своей девичьей фамилией, и это за много лет до того, как она стала ее вновь носить на самом деле.—Однажды, я был в гостях у молодоженов и слышал, как молодая женщина со смехом рассказывала, что с ней недавно случилось. На следующий день после возвращения из путешествия она пошла к своей незамужней сестре, чтобы, как в прежние времена, отправиться с ней вместе за покупками, в то время, как муж ее пошел по своим делам. Вдруг, ей бросился в глаза какой-то господин, шедший

по другой стороне улицы; она толкнула сестру и вскрикнула: смотри, вот господин Л. Она забыла, что этот господин уже в течение нескольких недель—ее муж. У меня мороз пробежал по коже, когда я это услышал, все же я не решился сделать отсюда соответствующий вывод. Мелкий инцидент этот вспомнился мне лишь несколько лет спустя, когда брак этот закончился самым несчастным образом.

О знаменитой артистке Элеоноре Дузэ один мой друг, научившийся внимательно присматриваться к знакам, рассказывает, что в одной из своих ролей она совершает симптоматическое действие, ясно показывающее, из каких глубоких источников идет ее игра. Это драма супружеской неверности; героиня только что имела объяснение с мужем и стоит теперь в стороне, погруженная в мысли, в ожидании соблазнителя. В этот короткий промежуток времени, она играет обручальным кольцом на пальце, снимает его, надевает вновь, и опять снимает. Теперь она созрела уже для другого.

Мне известен также случай с одним пожилым господином, который взял себе в жены очень юную девушку и собирался провести свадебную ночь не в дороге, а в одном из отелей того же города. Едва они успели приехать в отель, как он с ужасом заметил, что

при нем нет бумажника, в котором лежали все деньги, предназначенные для свадебной поездки; он сунул его куда-нибудь или потерял. Удалось еще разыскать при помощи телефона слугу, который нашел бумажник в старом сюртуке молодожена и принес его в отель своему господину, вступившему таким образом в брак без состояния. Благодаря этому он мог на другое утро отправиться со своей молодой женой в дорогу; но в течение ночи он, как это и предусматривали его опасения, остался «несостоятельным».

Утешительно думать, что приключающиеся с людьми «потери» являются чаще, чем мы полагаем, симптоматическими действиями и идут благодаря этому навстречу хотя бы тайному намерению пострадавшего лица. Потеря бывает часто лишь выражением того, что человек не дорожит утраченным предметом, втайне не расположен к этому предмету или к лицу, от которого он исходит, или, наконец, что готовность утраты была перенесена на этот предмет с других, более важных объектов, путем символической ассоциации мыслей. Потеря более ценных вещей служит выражением для самых разнообразных импульсов, она должна либо символически представлять вытесненную мысль, и, стало быть, повторять напоминание, которое охотнее всего хотелось бы пропустить мимо ушей, либо—и это

скорее всего—она стремится принести жертву темным силам судьбы, культ которых не исчез еще и в нашей среде[1]).

---

[1]) Вот маленькая коллекция различных симптоматических действий, наблюдавшихся у здоровых и у больных людей. Пожилой коллега, не любящий проигрывать в карты, однажды вечером, не жалуясь, но в каком-то странном, сдержанном настроении уплачивает довольно значительную проигранную сумму. После его ухода оказывается, что он оставил на своем месте едва ли не все, что имел при себе: очки, портсигар, носовой платок. В переводе это должно означать: Разбойники! Ловко вы меня ограбили.—Один господин, страдающий от времени до времени импотенцией, коренящейся в его искренних отношениях к матери в детстве, рассказывает о своей привычке снабжать рукописи и записи буквой S, первой буквой имени его матери. Он не переносит, чтобы письма из дому соприкасались на его письменном столе с другими, нечистыми письмами, и вынужден поэтому прятать их отдельно.—Молодая дама вдруг открывает дверь моей приемной, в которой еще находится предыдущая посетительница. Она оправдывается тем, что „не подумала“: вскоре однако обнаруживается, что она демонстрировала то же любопытство, которое в свое время заставляло ее проникать в спальню родителей. — Девушки, гордящиеся своими красивыми волосами, умеют так ловко обходиться с гребнем и шпильками, что волосы рассыпаются у них во время разговора.—Многие мужчины, подвергаясь медицинскому исследованию (в лежачем положении) высыпают деньги из кармана и таким образом вознаграждают труд врача сообразно с тем, как они его ценят.—Кто забывает у врача предмет,

Из числа единичных случайных действий я приведу пример, который и без анализа допускает более глубокое толкование и прекрасно выясняет условия, при которых подобные симптомы продуцируются самым незаметным образом; в связи с ним уместно будет также одно практически важное замечание. Летом, во время путешествия мне случилось в одной местности ждать несколько дней своего спутника. В это время я познакомился с молодым человеком, который также чувствовал себя одиноким и охотно составил мне компанию. Так как мы жили в одном отеле, то естественно сложилось так, что мы рядом сидели за столом и вместе совершали прогулки. На третий день он вдруг сообщил мне после обеда, что ожидает сегодня вечером со скорым поездом свою жену. Это пробудило во мне интерес психолога, ибо я еще утром заметил, что мой знакомый отклонил предложение насчет более крупной экскурсии и во время той небольшой прогулки, которую мы совер-

принесенный с собой, напр. пенснэ, платок, сумку— показывает этим обыкновенно, что не может вырваться и хотел бы скоро вернуться. — Кто возьмем на себя труд, подобно Юнгу (Uber die Psychologie der Dementia praecox 1907 p. 62), проследить те мелодии, которые напеваешь про себя ненарочно, часто сам того не замечая, тот сможет установить, в виде общего правила, связь между текстом песни и занимающим данное лицо комплексом.

шили, не захотел итти по одной из дорожек,— слишком крутой и опасной по его мнению. Гуляя после обеда, он стал вдруг говорить о том, что я вероятно голоден, просил, чтобы я не откладывал из-за него ужина, так как он сам будет ужинать лишь, когда приедет его жена, вместе с ней. Я понял намек и сел за стол, когда он отправился на вокзал. На следующее утро мы встретились в вестибюле отеля. Он представил мне жену и добавил затем: «Ведь вы позавтракаете с нами?» Мне нужно было еще сходить кой-зачем в ближайшую улицу, и я обещал скоро вернуться. Когда я вошел в столовую, то увидел, что мои знакомые уселись за маленьким столиком у окна, заняв места по одну сторону его. По другую сторону стоял стул, на спинке которого висел большой тяжелый плащ молодого человека, покрывая сидение. Я прекрасно понял смысл этого размещения, бессознательного, конечно, но тем более выразительного. Это означало: тебе здесь не место, теперь ты лишний. Муж не заметил, что я остановился перед стулом, не садясь, жена заметила это, тотчас же толкнула его и шепнула ему: Ты же занял место этого господина!

В этом, как и в подобных ему случаях я говорю себе, что ненамеренные действия должны неминуемо служить источниками недоразумений в общении между людьми. Совершаю-

щий их, не подозревая связанного с ними намерения, не вменяет себе их в вину и не считает себя за них ответственным. Но тот, против кого они направляются, обыкновенно делает из подобных действий своего партнера определенные выводы о его намерениях и настроениях и знает о его переживаниях больше, чем тот готов признать, больше, чем тот—на его собственный взгляд—обнаружил. Партнер в свою очередь возмущается, если ему ставят на вид сделанные из его симптоматических действий выводы, считает их ни на чем неосноваными,— ибо намерение, руководившее им, не дошло до его сознания,—и жалуется на недоразумение. При ближайшем рассмотрении такие недоразумения основываются на том, что наблюдающее лицо понимает слишком тонко и слишком много. Чем более «нервны» оба действующих лица, тем скорее они оба подают повод к трениям, при чем каждый столь же решительно отрицает свою вину, сколько уверен в вине другого. Быть может, в этом и заключается наказание за внутреннюю неискренность, что люди под предлогом забвения, ошибки, непреднамеренности, дают проявиться таким импульсам, в которых лучше было бы признаться и себе самому, и другим, если уже нельзя их преодолеть. Можно установить, как общее правило, что каждый человек непрестанно подвергает других людей психиче-

скому анализу и благодаря этому знает их лучше, чем самого себя. Путь к осуществлению призыва γνῶθι σεαυτὸν ведет чрез изучение своих собственных случайных на вид действий и упущений.

X.

Ошибки.

Ошибки памяти отличаются от забывания с неправильным припоминанием лишь одной чертой; ошибка (неправильное припоминание) не воспринимается, как таковая, и находит себе веру. Употребление слова «ошибка» связано, однако, с другим условием. Мы говорим об «ошибке» вместо того, чтобы говорить о «неправильном воспоминании», тогда когда в воспроизводимом психическом материале должен быть подчеркнут характер объективной реальности, когда, стало быть, припоминанию подлежит не факт моей внутренней психической жизни, а нечто, поддающееся подтверждению или опровержению при помощи припоминания других людей. Противоположностью ошибкам памяти в этом смысле является незнание:

В моей книге «Die Traumdeutung» (1900 г.) я допустил целый ряд искажений исторического и вообще фактического материала, и

был очень удивлен, когда после выхода книги в свет на них обратили мое внимание. При более близком рассмотрении я нашел, что причиной тому было не мое незнание, а ошибки памяти, которые можно объяснить путем анализа.

а) На стр. 266 я говорю, что Шиллер родился в Марбурге,—название города, встречающееся также в Штирии. Ошибка сделана в изложении анализа одного сна, который я видел во время ночной поездки, когда кондуктор разбудил меня, выкрикнув название *Марбург*. В этом сне был задан вопрос об одной книге Шиллера. Но Шиллер родился не в университетском городе *Марбурге*, а в швабском *Марбахе*. Я утверждаю, что всегда знал это.

б) На стр. 135 я назвал отца *Ганнибала*—*Гасдрубалом*. Эта ошибка была мне особенно досадна, но зато и больше всего убедила меня в правильности моего взгляда на такого рода ошибки. В истории Баркидов редкий из читателей более осведомлен, чем автор, сделавший ошибку и проглядевший ее при корректировании книги. Отцом *Ганнибала* был *Гамилькар Барка*, *Гасдрубал*—имя брата Ганнибала, а также и его шурина и предшественника на посту полководца.

в) На стр. 177 и 370 я утверждаю, что *Зевс* оскопил и сверг с престола своего отца *Кро-*

носа. Злодеяние это я по ошибке передвинул на целое поколение; в греческой мифологии это сделал *Кронос* со своим отцэм *Ураном*.

Как же объяснить, что моя память изменила мне здесь, в то время, как в других случаях, как в этом могут убедиться читатели моей книги, к моим услугам оказывается самый отдаленный и малоупотребительный материал? И затем, каким образом, при трех тщательнейших корректурах, я проглядел эти ошибки, словно пораженный слепотой?

Гете сказал про Лихтенберга: когда он шутит, то в его шутке таится проблема. По аналогии с этим можно было бы сказать про приведенные здесь места моей книги: где встречается ошибка, там за ней скрывается вытеснение. Или вернее: неискренность, искажение, в последнем счете основывающееся на вытеснении. При анализе снов, приводимых в этой книге, я был вынужден по самой природе тех тем, на которые распространялось содержание снов, с одной стороны, обрывать анализ, не доводя его до полного окончания, с другой же стороны, смягчить ту или иную нескромную частность, слегка искажая ее. Иначе нельзя было поступить, разве если отказаться вообще от приведения

примеров; у меня не было выбора, это неизбежно вытекало из особенности, присущей снам: служить выражением для вытесненного, т.-е. не подлежащего сознанию материала. Несмотря на это все же осталось, вероятно, немало такого, что могло шокировать щепетильных людей. Это-то искажение или ощущение известного мне продолжения мыслей не прошло бесследно. То, что я хотел подавить, нередко прокладывало себе против моего желания дорогу в область того, что было мной включено в изложение, и проявлялось там в форме ошибок, незаметных для меня. В основе всех трех приведенных мной выше примеров лежит, впрочем, одна и та же тема: ошибки эти коренятся в вытесненных мыслях, касающихся моего покойного отца.

Пример а): кто даст себе труд прочесть проанализированный на стр. 266 сон, тот заметит—частью прямо, частью из намеков,—что я оборвал анализ на мыслях, которые должны были заключать в себе недоброжелательную критику моего отца. Если продолжать этот ряд мыслей и воспоминаний, то в нем можно найти одну неприятную историю, в которой замешаны книги и некий господин, с которым мой отец вел дела, по фамилии *Марбург*—то же имя, которое выкрикнул разбудивший меня кондуктор. При анализе я хотел скрыть этого господина от

себя и от читателей; он отомстил за себя, забравшись туда, где ему быть не следовало, и превратив название родины Шиллера из *Марбаха в Марбург.*

Прим. б): ошибка, благодаря которой я написал *Гасдрубал* вместо *Гамилькара* — имя брата вместо имени отца, была сделана как раз в такой связи, в которой дело касалось моих гимназических мечтаний о Ганнибале и моего недовольства поведением отца по отношению в «врагам нашего народа». Я мог бы продолжить изложение и рассказать, как мое отношение к отцу изменилось после поездки в Англию, где я познакомился с живущим там сводным братом, сыном отца от первого брака. У моего брата есть старший сын, одного возраста со мной; так что поскольку дело шло о возрасте, ничто не нарушало моих мечтаний о том, как все было бы иначе, если бы я был сыном не своего отца, а брата. Эти подавленные мной мечтания и исказили текст моей книги в том месте, где я оборвал анализ, — заставили меня поставить на место имени отца, имя брата.

Пример в): влиянию воспоминаний о том же брате я приписываю и третью ошибку, — когда я передвинул на целое поколение мифическое злодеяние из мира греческих богов. Из числа того, в чем меня убеждал мой брат, одно осталось у меня надолго в памяти. «Что ка-

сается образа жизни,—сказал он мне,—то не забывай одного: ты принадлежишь, в сущности, не ко второму, а к третьему поколению, считая от отца». Наш отец женился впоследствии вторично и был, таким образом, на много старше своих детей от второго брака. Указанную ошибку я сделал как раз в том месте книги, где говорю о чувстве почтения, связывающем родителей и детей.

Несколько раз случалось также, что мои друзья и пациенты, чьи сны я излагал или намекал на них при анализе, обращали мое внимание на то, что я неточно передаю пережитое нами совместно. Это были опять исторические ошибки. После исправления я рассмотрел отдельные случаи и опять-таки убедился, что припоминал неправильно фактичеческую сторону дела лишь там, где при анализе я что-либо намеренно исказил или скрыл. Здесь опять, стало-быть, *незамеченная ошибка играет роль реванша за намеренное умолчание или вытеснение.*

От такого рода ошибок, коренящихся в вытеснении, резко отличаются другие ошибки, основывающиеся на действительном незнании. Например, незнанием объясняется, что я раз на прогулке в Вахау думал, что посетил местопребывание революционера Фишгофа. Здесь имелось лишь совпадение имен: Эммерсдорф

Фишгофа лежит в Каринтии. Но я этого просто не знал.

Еще одна пристыдившая меня и вместе с тем поучительная ошибка,—пример временного невежества, если можно так выразиться. Один пациент напомнил мне как-то раз о моем обещании дать ему две книги о Венеции, по которым он хотел подготовиться к своему пасхальному путешествию. «Я их отложил уже»,— ответил я и пошел за ними в свою библиотеку. На самом деле, я забыл отобрать их, ибо был не особенно доволен поездкой моего пациента, в которой видел ненужное нарушение курса лечения и материальный ущерб для врача. В библиотеке я на скорую руку отыскиваю те две книги, которые имел в виду. Одна из них—«Венеция, как город искусства»; кроме этого у меня должно быть еще одно историческое сочинение из подобной же серии. Верно; вот оно: «Медичи»; беру его, несу к ожидающему меня пациенту, с тем, чтобы в смущении признать свою ошибку. Ведь, я же знаю, что Медичи ничего общего не имеют с Венецией, но в данный момент я в этом не увидел ничего неправильного. Пришлось быть справедливым; я так часто указывал моему пациенту на его собственные симптомические действия, что спасти свой авторитет я мог лишь честно, признав скрытые мотивы моего предрасположения против его поездки.

В общем удивляешься, насколько стремление к правде сильнее у людей, чем обыкновенно предполагаешь. Быть может, это результат моих работ над психическими анализами, но я не могу лгать. Стоит мне сделать попытку в этом направлении, и я тотчас же совершаю какую-нибудь ошибку или другое дефектное действие, которым моя неискренность выдает сѐбя; так и было в тех примерах, которые я уже привел, и которые приведу еще ниже.

Среди всех дефектных актов механизм ошибки обнаруживает наименьшую связанность; иными словами, наличность ошибки свидетельствует лишь в самой общей форме о том, что соответствующей душевной деятельности приходится выдерживать борьбу с какой-либо помехой, при чем самый характер ошибки не детерминируется свойствами скрытой расстраивающей идеи. Следует, однако, задним числом заметить, что во многих несложных случаях обмолвок и описок надо предположить то же самое.

Каждый раз, когда мы совершаем обмолвку или описку, мы имеем право заключить о наличности помехи в виде душевных процессов, лежащих вне нашего намерения; надо, однако, допустить, что обмолвки и описки нередко повинуются законам сходства, удобства или стремления ускорить процесс, при чем

фактору, играющему роль помехи, не удается наложить свою собственную печать на получающуюся в результате обмолвки или описки— ошибку. Лишь благоприятный словесный материал дает возможность детерминировать ошибку, но, вместе с тем, он ставит ей также и предел.

Чтобы не ограничиваться лишь своими собственными ошибками, приведу еще два примера; их с тем же основанием можно было бы отнести в разряд обмолвок и действий, совершаемых по ошибке, но при равноценности всех этих явлений это не играет роли.

а) Я запретил своему пациенту вызывать по телефону женщину, с которой он собирался порвать, так как всякий разговор вновь разжигает борьбу, связанную с отвыканием. Предлагаю ему сообщить ей письменно свое последнее слово, хотя и есть некотoрые трудности в доставке писем. В час дня он приходит ко мне и сообщает, что нашел путь, чтобы обойти эти трудности, и спрашивает, между прочим, может ли он сослаться на мой авторитет, как врача. Два часа он занят составлением письма, но вдруг прерывает писание и говорит находящейся тут же матери: я позабыл спросить профессора, можно ли упомянуть в письме его имя; спешит к телефону, просит соединить себя с таким-то номером и спрашивает в трубу: «г. профессор

уже пообедал? можно его попросить к телефону»? В ответ на это раздается изумленное: «Адольф, ты с ума сошел?»—тот именно голос, которого он, согласно моему предписанию, не должен был больше слышать. Он лишь «ошибся» и вместо номера врача сказал номер любимой женщины.

б) В одной дачной местности некий школьный учитель, бедняк, но красивый молодой человек, до тех пор ухаживал за дочерью некоего столичного домовладельца, пока девушка не влюбилась в него страстно и не убедила свою семью согласиться на их брак, несмотря на разницу в положении и на расовые различия. Однажды учитель пишет письмо брату, в котором говорится: «девчурка совершенно не красива, но она очень мила, и этого было бы достаточно. Но решусь ли я жениться на еврейке, не могу тебе еще сказать». Письмо это попадает в руки невесте, и брак расстраивается; в это же время брат изумляется любовным излияниям, адресованным ему. Лицо, сообщившее мне об этом, уверяло меня, что здесь была ошибка, а не ловко подстроенная комбинация. Известен мне еще один случай, когда дама, недовольная своим прежним врачем, но не хотевшая ему прямо отказать, тоже перепутала письма; в этом случае, по крайней мере, и я могу удостоверить, что этот обычный водевильный прием

был применен не в силу сознательной хитрости, а в результате ошибки.

Быть может, читатели будут склонны считать объясненную здесь группу ошибок мало распространенной и не особенно важной. Я хочу, однако, обратить их внимание на то, не имеем ли мы основания рассматривать с той же точки зрения также и *ошибочные суждения* людей в жизни и науке. Быть может, лишь избранные и наиболее уравновешенные умы способны уберечь картину воспринятой ими внешней действительности от того искажения, которое она терпит, проходя через психическую индивидуальность воспринимающего лица.

XI.

Комбинированные дефектные действия.

Два из приведенных в предыдущей главе примеров—моя ошибка с Медичи, перенесенными мной в Венецию, и ошибка молодого человека, добившегося, несмотря на запрет, возможности поговорить по телефону со своей возлюбленной,—описаны мной собственно неточно и при более тщательном рассмотрении оказываются комбинацией из забвения и ошибки. Такая же комбинация может быть еще яснее показана на других примерах.

а) Один мой друг рассказывает мне следующий случай. Несколько лет тому назад,—говорит он,—я согласился быть избранным в члены бюро одного литературного общества, предполагая, что общество поможет мне добиться постановки моей драмы, и регулярно, хотя и без особого интереса, принимал участие в заседаниях, происходивших каждую пятницу. Несколько месяцев тому назад я получил обещание, что моя пьеса будет поставлена в ф-ском театре, и с тех пор я

стал регулярно *забывать* о заседаниях этого общества. Когда я прочел вашу книгу об этих вещах, я сам устыдился своей забывчивости, стал упрекать себя—некрасиво, мол, манкировать теперь, когда я перестал нуждаться в этих людях,—и решил в следующую пятницу непременно не позабыть. Все время я вспоминал об этом намерении, пока, наконец, не выполнил его. Но когда я пришел в помещение общества, то, к моему удивлению, двери были закрыты, заседание уже состоялось. Я ошибся днем: была уже суббота!

б) Следующий пример представляет собой комбинацию симптоматического действия и закладывания предметов; он дошел до меня далекими окольными путями, но источник вполне достоверен.

Одна дама едет со своим шурином, знаменитым художником, в Рим. Живущие в Риме немцы горячо чествуют художника и, между прочим, подносят ему в подарок античную золотую медаль. Дама недовольна тем, что ее шурин недостаточно ценит эту красивую вещь. Смененная своей сестрой и вернувшись домой, она, раскладывая свои вещи, замечает, что неизвестно каким образом захватила с собой медаль. Она тотчас же пишет об этом шурину и уведомляет его, что на следующий день отошлет завезенную ею вещь в Рим. Однако на следующий день, ме-

даль так искусно запрятана куда-то, что нет возможности найти ее и отослать; и тогда дама начинает смутно догадываться, что означала ее рассеянность: желание оставить вещь у себя.

Не стану утверждать, чтобы подобные случаи комбинированных погрешностей могли нам дать что-либо новое, что не было бы нам известно уже из примеров отдельных погрешностей, но смена форм, ведущих, однако, все к тому же результату, создает еще более выпуклое впечатление наличности воли, направленной к достижению определенной цели, и гораздо более резко противоречит взгляду, будто ошибочное действие является чем-то случайным и не нуждается в истолковании. Обращает на себя внимание также и то, что в этих примерах сознательному намерению никак не удается помешать успеху ошибочного действия. Моему другу так и не удается посетить заседание общества, дама оказывается не в состоянии расстаться с медалью. Если один путь оказывается прегражденным, тогда то неизвестное, что противится нашим намерениям, находит себе другой выход. Для того, чтобы преодолеть неизвестный мотив, требуется еще нечто другое, кроме сознательного встречного намерения: нужна психическая работа, доводящая до сознания неизвестное.

XII.

Детерминизм.—Вера в случайности и суеверие.—Общие замечания.

В качестве общего вывода из всего сказанного выше об отдельных феноменах, можно установить следующее положение. *Известные недостатки наших психических функций*—общий характер которых будет ниже определеп более точно—*и известные преднамеренные на вид отправления оказываются, будучи подвергнуты психоаналитическому исследованию, вполне мотивированными и детерминированными, при чем мотивы скрыты от сознания.*

Для того, чтобы быть отнесенным к разряду объясняемых, таким образом, феноменов, психическое дефектное действие должно удовлетворять следующим условиям:

а) Оно не должно выходить за известный предел, установленный нашим суждением и обозначенный словами «в границах нормального».

б) Оно должно носить характер временного и преходящего расстройства. Нужно, чтобы то же действие перед этим выполнялось правильно или чтобы мы считали себя способными в любой момент выполнить его. Если нас поправил кто-либо другой, нужно, чтобы мы тотчас же увидели, что поправка верна, наш же психический акт неправилен.

в) Если мы вообще и замечаем погрешность, мы не должны отдавать себе отчета ни в какой мотивировке; наоборот, нужно, чтобы мы были склонны объяснить ее «невнимательностью» или «случайностью».

Таким образом в этой группе остаются случаи забывания, ошибки в таких вещах, которые знаешь, обмолвки, описки, очиски, ошибочные движения и так наз. случайные действия. Одинаково присущая большинству этих обозначений в немецком языке частица ver (Vergressen, Vesrprechen, Verlesen, Verschreiben, Vergreffen) [1]) указывает уже в самой терминологии на их внутреннее единообразие. Выясняя определенные, таким образом, психические явления, мы приходим к ряду указаний, которые должны отчасти иметь и более широкий интерес.

---

[1]) По-русски ей соответствует частица „об“ (обмоловки, описки) и отчасти „за“ (забывание, закладывание). Примеч. перев.

I. Отрицая преднамеренность за некоторой частью наших психических актов, мы преуменьшаем значение детерминирования в душевной жизни. Это последнее здесь, как и в других областях, идет гораздо дальше, чем мы думаем. В 1900 году в статье в «Zeit» историк литературы R. M. Meyer показал и выяснил на примерах, что нет возможности сознательно и произвольно сочинить бессмыслицу. Мне уже давно известно, что нельзя вполне произвольно вызвать в своем воображении какое-либо число или имя. Если исследовать любое произвольное на вид, скажем, многозначное число, названное якобы в шутку или от нечего делать, то обнаружится столь строгое детерминирование, которое действительно кажется невозможным. Я хочу разобрать сперва вкратце один пример произвольного выбора имени, а затем более подробно проанализировать аналогичный пример с числом «сказанным наугад».

a) Подготовляя к печати историю болезни одной из моих пациенток, я раздумываю над тем, какое бы имя дать ей в моей работе. Выбор, казалось бы, очень велик; конечно, некоторые имена уже заранее исключаются,— прежде всего, настоящее имя, затем имена членов моей семьи, которые меня коробили бы, затем, быть может, еще какие-нибудь женские имена, особенно странно звучащие; но

вообще мне не приходится стесняться в выборе имен. Можно было бы ожидать, и я действительно, ожидаю, что в моем распоряжении окажется целое множество женских имен.

Вместо этого всплывает одно, и никакое другое не сопровождает его: *Дора*. Задаюсь вопросом о его детерминировании. Кто носит имя Доры? Первое, что мне приходит в голову, и что мне хочется отбросить, как нечто бессмысленное: так зовут няньку моей сестры. Однако я обладаю достаточной выдержкой или достаточной опытностью в анализах, чтобы удержать пришедшую мне в голову мысль и продолжить нить. Тотчас же мне вспоминается мелкий случай, происшедший прошлым вечером, случай, несущий с собой искомое детерминирование. В столовой у моей сестры я видел на столе письмо с надписью: Г-же Розе В. Я удивлен и спрашиваю, кто это; мне отвечают, что мнимая Дора называется, собственно, Розой, но должна была при поступлении к моей сестре переменить имя, потому что так же звали и сестру. Я говорю с соболезнованием: бедные люди, даже имени своего они не могут сохранить за собой! Как я теперь припоминаю, я на минуту замолчал и стал размышлять о всякого рода серьезных вещах, которые как-то расплылись тогда, но которые теперь я мог бы легко вызвать в своем сознании. Когда я затем на

следующий день искал имя для лица, *которому нельзя было сохранить свое собственное имя*, мне пришла в голову именно «Дора». То обстоятельство, что мне пришло на ум только одно это имя, основывается здесь на прочной внутренней связи, ибо в истории моей пациентки влияние, сыгравшее решающую роль также и в ходе ее лечения, исходило от лица служащего в чужом доме,—от гувернантки.

Этот мелкий случай имел, спустя несколько лет, неожиданное продолжение. Однажды, разбирая в своей лекции давно уже опубликованную историю болезни девушки, которую я так и назвал Дорой, я вспомнил, что одна из моих двух слушательниц тоже носит имя Доры, произносимое мною так часто в самых различных комбинациях; я обратился к этой студентке, с которой был знаком лично, с извинением: Я право не подумал о том, что вас так зовут, охотно заменю для лекций это имя другим. Предо мной была, таким образом, задача быстро выбрать другое имя, причем я имел в виду, как бы мне не напасть на имя другой слушательницы и не дать, таким образом, дурного примера опытным уже в психоанализе студентам. Я был очень доволен, когда вместо Доры мне пришло в голову имя Эрны, которым и воспользовался в своей лекции. По окончании лекции, я спросил себя, откуда же могло взяться имя Эрны,

и не мог не рассмеяться, ибо заметил, что как раз то, чего я боялся, все же случилось при выборе нового имени, хотя и частично. Фамилия второй студентки была—*Люцерна*; половина этого слова—Эрна.

в) В письме к другу я сообщаю ему, что покончил с корректурой «Traumdeutung» и не «желаю больше ничего изменять в этой работе, «будь в ней даже 2.467 ошибок». Тотчас же я пытаюсь выяснить себе происхождение этого числа и присоединяю этот маленький анализ в качестве post scriptum к письму. Лучше всего будет, если я процитирую то, что написал тогда же, когда поймал себя на месте преступления.

«На скорую руку еще маленькое сообщение на тему о психопатологии повседневной жизни. Ты найдешь в письме цифру 2.467; ею я определяю произвольно, в шутку, число ошибок, которые окажутся в моей книге о снах. Я хотел этим сказать любое большое число; и в голову пришла эта цифра. Но так как в области психического нет ничего произвольного, не-детерминированного, то ты с полным правом можешь ожидать, что здесь бессознательное поспешило детерминировать число, которое в моем сознании не было связано ничем. Непосредственно перед этим я прочитал в газете, что некий генерал Е. М. вышел в отставку в звании фельдцейхмей-

стера. Надо тебе сказать, что этот человек интересует меня. Когда я еще отбывал в качестве медика военную службу, он — тогда еще полковник—пришел однажды в приемный покой и сказал врачу: «Вы должны меня вылечить в неделю, потому что мне нужно выполнить работу, которую ждет император». Я поставил себе тогда задачу проследить карьеру этого человека, и вот теперь (в 1899 году) он ее закончил,—фельдцейхмейстером и уже в отставке. Я хотел высчитать, во сколько лет он проделал этот путь, и исходил при этом из того, что видел его в госпитале в 1882 г. Стало быть, в 17 лет. Я рассказал об этом жене, и она заметила: «Стало быть, ты тоже должен уже быть в отставке?» Я запротестовал: боже меня избави от этого. После этого разговора я сел за стол, чтобы написать тебе письмо. Но прежний ход мыслей продолжался, и не без основания. Я неверно сосчитал; о том свидетельствует имеющаяся у меня в воспоминаниях спорная точка. Мое совершеннолетие—стало быть, 24-й год—я отпраздновал на гауптвахте (за самовольную отлучку). Это было, значит, в 1880 году—19 лет тому назад. Вот уже цифра 24, заключаючаящая в числе 2.467! Теперь возьми мой возраст—43 и прибавь к нему 24 года, и ты получишь—67. То-есть: на вопрос, хочу ли я тоже выйти в отставку, я мысленно приба-

вил себе еще 24 года работы. Очевидно, я огорчен тем, что за тот промежуток времени, в течение которого я следил за полковником М., я сам не пошел так далеко, и вместе с тем, испытываю нечто вроде триумфа по поводу того, что он уже конченный человек, в то время, как у меня еще все впереди. Не правда ли, можно с полным основанием сказать, что даже и ненамеренно набросанное число 2.467 не лишено своего детерминирования, идущего из области бессознательного».

Со времени этого первого объяснения якобы произвольно выбранных чисел я неоднократно повторял этот опыт с тем же успехом; однако большинство случаев настолько интимно по своему содержанию, что не поддается передаче.

Именно поэтому я и не хочу упустить случая привести здесь весьма интересный анализ, который мой коллега д-р Альфред Адлер получил от знакомого ему, «совершенно здорового» корреспондента[1]): А. пишет мне: вчера вечером я взялся за «Психопатологию обыденной жизни» и прочел бы всю книгу до конца, если бы мне не помешал замечательный случай. Когда я прочел о том, что всякое число, которое мы, казалось бы, совершенно произ-

[1]) Alf. Adler. Drei Psycho-Analysen von Zahleneinfällen und obsedierenden Zahlen. Psych.-Neur, Wochenschrift № 28, 1905.

вольно вызываем в своем сознании имеет определенный смысл, я решил сделать опыт. Мне пришло в голову число 1734. Вслед за этим мне приходит на мысль одно за другим следующее: 1734 : 17=102; 102 : 17=6. Затем я расчленяю задуманное число на 17 и 34. Мне 34 года. Как я уже сам, кажется, сказал однажды, я смотрю на 34 год, как на последний год молодости, и потому последний раз в день моего рождения чувствовал себя отвратительно. К концу 17-го года для меня начался очень отрадный и интересный период развития. Я делю свою жизнь на отделы, по 17 лет каждый. Что должны обозначать эти доли? По поводу 102 мне приходит на мысль, что № 102 Рекламской Universalbibliothek содержит пьесу Коцебу: «Ненависть к людям и расскаяние».

Мое теперешнее психическое состояние, это— ненависть к людям и расскаяние. № 6 Рекламской библиотеки (я знаю наизусть множество номеров) это «Вина» Müllner'а. Меня неустанно мучает мысль, что я по своей вине не стал тем, чем мог бы стать в силу своих способностей. Далее мне приходит в голову, что № 34 той же библиотеки содержит рассказ Müllner'а же под названием «Der Kaliber». Разделяю это слово на «Ka-li-ber»; далее мне приходит в голову, что оно заключает в себе слова Ali и Kali. Это напоминает мне о том,

что я однажды подыскивал с моим (шестилетним) сыном Али рифмы. Я предложил ему найти рифму к Ali. Ему ничего не приходило на ум и когда он попросил меня дать ему рифму, я сказал: Али полощет рот гипермарганцевым кали. Мы много смеялись и Али был очень мил. В последние дни мне пришлось, однако, с досадой констатировать, что он «не милый Али—dass er ka(kein)lieber Ali sei».

Я спросил себя затем, что содержит в себе № 17 Рекламской библиотеки, и не мог этого доискаться. Но раньше я наверное знал это, стало быть, надо допустить, что я хочу позабыть это число. Все попытки вспомнить были напрасны. Я хотел читать дальше, но читал чисто механически, не понимая ни слова, так как меня мучило число 17. Я погасил лампу и продолжал искать. Наконец, мне пришло на ум, что № 17—это должно быть вещь Шекспира. Но какая? Мне приходит в голову: Геро и Леандр. Очевидно—нелепая попытка моей воли сбить меня со следа. Наконец, я встаю и отыскиваю каталог № 17, это «Макбет». К моему смущению я должен констатировать, что я из этой вещи почти ничего не помню, хотя она и занимала меня не меньше, чем другие драмы Шекспира. Мне вспоминается только: убийца, лэди Макбет, ведьмы, «красивое уродливое» и также еще и то, что в свое время мне очень понравилась обработка

Макбета Шиллером. Нет сомнения, стало быть, что я хотел забыть эту вещь. Приходит мне в голову еще одно: 17 и 34, деленные на 17, составляют 1 и 2. №№ 1 и 2 Рекламской библиотеки—это «Фауст» Гете. В прежнее время я находил в себе очень много фаустовского».

Приходится пожалеть о том, что в силу вынужденной скрытности врача мы не можем понять значения этого ряда мыслей. *Адлер* замечает, что синтез всех этих рассуждений не удался данному лицу. Впрочем их и не стоило бы сообщить, если бы в дальнейшем не выступило нечто, дающее нам ключ к пониманию числа 1734 и всего ряда мыслей.

«Сегодня утром со мной действительно случилось нечто, говорящее много в пользу правильности фрейдовских взглядов. Жена моя, которую я разбудил, вставая ночью, спросила меня, зачем мне понадобился каталог. Я рассказал ей всю историю. Она нашла, что все это вздор, и (это очень интересно!) признала значение только за Макбетом, от которого я так хотел отделаться. Она сказала, что ей ничего не приходит в голову, когда она задумывает какое-нибудь число. Я ответил: «Сделаем опыт». Она называет число 117. Я тотчас же возражаю на это: «17—относится и к тому, что я тебе рассказал. Далее, вчера я сказал тебе: если жене 82 года, а мужу 35, то это ужасное несоответствие».

Последние дни я дразню жену тем, что она, мол, старая 82-летняя бабушка, 82+35=117».

Таким образом человек, который сам не мог детерминировать свое число, тотчас же нашел решение, когда жена назвала ему якобы произвольно выбранное число. На самом деле жена прекрасно поняла, из какого комплекса взялось число ее мужа, и выбрала свое число из того же комплекса, несомненно общего для обоих этих лиц, так как речь шла об отношении между их возрастами. Теперь нам не трудно истолковать число мужа. Она выражает, как на это и указывает д-р Адлер, подавленное желание мужа, которое, будучи вполне развито, гласило бы: «человеку 34-х лет, как я, под стать только семнадцатилетняя жена».

Во избежание пренебрежительного отношения к подобного рода «забавам», добавлю, что, как я недавно узнал от д-ра Адлера, человек этот через год после опубликования этого анализа развелся с женой[1]).

[1]) Для об'яснения „Макбета", № 17 Рекламской библиотеки, Адлер сообщает мне, что данное лицо на 17-м году своей жизни вступило в анархическое общество, поставившее себе целью цареубийство. Очевидно, поэтому и было позабыто содержание „Макбета". В то же время это же лицо изобрело шифрованное письмо, в котором буквы заменялись числами.

Подобным же образом объясняет Адлер и происхождение навязчивых чисел. Прекрасный пример происхождения навязчивого, т.-е. преследующего слова мы находим у Юнга (Diagnost. Assozfationsstudien IV, p. 215).

«Одна дама рассказала мне, что в последние дни у нее непрестанно вертится на языке слово «Таганрог», и она не имеет понятие о том, откуда оно взялось. Я спросил даму о связанных с аффектами событиях и вытесненных желаниях последнего времени. После некоторых колебаний она рассказала мне, что очень хотела бы иметь утреннее платье (Morgenrock), но что муж ее относится к этому без достаточного внимания. Morgen-rock—Tag-an-rock (Tag—день, rock—платье),—здесь, очевидно, частичное родство по смыслу и созвучию. Детерминирование в форме русского слова объясняется тем, что приблизительно в то же время дама эта познакомилась с одним лицом из Таганрога».

В моих собственных анализах из этой категории мне особенно бросились в глаза две вещи. Во-первых, та прямо-таки сомнамбулическая уверенность, с какой я иду к незнакомой мне цели, погружаюсь в вычисляющий ход мыслей, который затем внезапно приводит меня к искомому числу, и та быстрота, с какой совершается вся последующая работа. Во-вторых, то обстоятельство, что числа с

такой готовностью оказываются в распоряжении моего бессознательного мышления, в то время, как я вообще говоря, я плохой счетчик и с величайшим трудом запоминаю даты, номера домов и т. п. В этих бессознательных операциях моего мышления с числами я нахожу склонность к суеверию, происхождение которого мне долгое время оставалось непонятным.

II. Этот взгляд на детерминирование якобы произвольно выбранных имен и чисел способен, быть может, послужить к выяснению еще другой проблемы. Как известно, многие приводят в качестве довода против последовательного проведенного детерминизма особое чувство убежденности в том, что существует свободная воля. Это чувство убежденности существует и не исчезает даже тогда, когда веришь в детерминизм. Как всякое нормальное чувство оно должно на чем-нибудь основываться. Но, насколько я мог заметить, оно проявляется не в крупных и важных актах нашей воли; в подобного рода случаях мы имеем, напротив, чувство психического принуждения и охотно ссылаемся на него (Лютеровское: «это я делаю и иначе не могу»). Зато тогда, когда мы принимаем неважные безразличные решения, мы склонны утверждать, что могли бы поступить и иначе, что мы действовали свободно, не повинуясь никаким мо-

тивам. После наших анализов нам нет надобности оспаривать прав на существование чувства убежденности в свободной воле. Если различать между тем, что мотивируется сознательно и тем, что имеет свою мотивировку в области бессознательного, то чувство убежденности свидетельствует о том, что сознательная мотивировка не распространяется на все наши моторные решения. Minima non curat praetor. Но то, что осталось несвязанным одной группой мотивов, получает свою мотивировку с другой стороны, из области бессознательного, и таким образом детерминирование психических феноменов происходит все же без пробелов[1]).

---

[1]) Этот взгляд на строгое детерминирование кажущихся произвольными психических актов принес уже обильные плоды для психолога—быть может, и для судебной практики. Блейлер и Юнг выяснили в этом смысле те реакции, какие наблюдаются при так называемом ассоциативном эксперименте, когда исследуемое лицо отвечает на сказанное ему слово первым же словом, пришедшим ему на мысль (реакция на раздражение словом), и измеряется протекшее при этом время (время реакции). Юнг показал в своих „Diagnostische Assoziationstudien“ (1906 г.), какой тонкий реагирующий аппарат сказывается в этом эксперименте. Ученики криминалиста H. Gross'a (Прага), Вертгеймер и Клейн развили на основе экспериментов особую технику „диагностицирования обстоятельств дела“ для уголовных процессов, рассмотрением которой заняты в настоящее время психологи и юристы.

III. Если по всей совокупности условий сознательное мышление и не может быть знакомо с мотивами рассмотренных выше дефектных действий, то было бы все же желательно иметь психологическое доказательство существования таких мотивов; при более близком изучении бессознательного, действительно, находишь основание полагать, что такие доказательства, вероятно, могут быть найдены. И в самом деле, в двух областях можно наблюдать феномены, которые, судя по всему, отвечают бессознательному и в силу этого потерпевшему известный сдвиг знанию мотивировки.

а) В поведении параноиков бросается в глаза та общеизвестная черта, что они придают величайшее значение мелким, обычно не замечаемым нами деталям в поведении других людей, истолковываются эти детали и строют на их основе далеко идущие выводы. Так, например, последний параноик, которого я видел, заключил, что люди, с которыми он сталкивается, пришли к какому-то соглашению, потому что, отъезжая от вокзала, он видел, как они делали известное движение рукой. Другой отмечает, как люди ходят по улице, размахивают палками и т. п.[1]). Та-

---

[1]) Наблюдатели, исходившие из других точек зрения, причисляли эту оценку несущественных, слу чайных проявлений у других людей к „мании отношения“ („Beziehungswahn“).

ким образом, если нормальный человек признает в применении к некоторой части своих собственных психических функций категорию случайного, не нуждающегося в мотивировке, то параноик отвергает эту категорию в применении к психическим актам других людей. Все, что он замечает у других, полно значения, все подлежит истолкованию. Каким образом приходит к этому? Очевидно, что здесь, как и во многих подобных случаях, он проицирует то, что бессознательно совершается в его собственной психике,—в душевную жизнь других людей. Ибо у параноика доходит до сознания много такого, что у нормального человека или у невротика может быть обнаружено лишь путем психоанализа, как находящееся вне сознания [1]). Таким образом параноик здесь в известном смысле прав, он познает нечто ускользающее от нормального человека, его взор острее нормальной способности, и только перенесение того, что он познал таким образом, на других людей

[1]) Так напр., фантазии истериков о сексуальных и жестоких истязаниях, фантазии, которые при помощи анализа могут быть доведены до сознания,—в соответствующих случаях до мелочей совпадают с жалобами преследуемых параноиков. Достойны внимания—хотя и непонятны—случаи, когда идентичное содержание выступает так же и в реальной форме—в виде тех шагов, которые предпринимают люди извращенные для удовлетворения своей похоти.

лишает его познания всякой цены. Надеюсь, от меня теперь не будут ожидать защиты отдельных параноических истолкований. Но та доля основательности, которую мы признаем за паранойей при этом взгляде на случайные действия, облегчит нам психологическое понимание той убежденности, с которой связываются у параноика все эти толкования. *В них есть доля правды*; и чувство убежденности, присущее нашим собственным ошибкам суждения, которых нельзя было бы назвать болезненными,—создается тем же самым путем. Поскольку речь идет о некоторой части ошибочного хода мыслей или об источнике его, это чувство вполне оправдывается, и уже затем мы распространяем его на всю остальную связь мыслей.

б) Другое указание на бессознательное и «сдвинутое» знание мотивов случайных и дефектных действий мы находим в феноменах суеверия. Чтобы выяснить свой взгляд, я воспользуюсь обсуждением одного мелкого инцидента, послужившего мне исходным пунктом в моих рассуждениях.

После того, как я возвратился с каникул, мои мысли тотчас же обратились к больным, которыми мне предстояло заняться в начинавшемся рабочем году. Первый визит я должен был сделать одной очень старой даме, над которой я (см. выше) с давних пор произвожу

каждый день дважды одни и те же врачебные манипуляции. Благодаря этому однообразию у меня очень часто на пути к больной или в то время, когда с ней бывал занят, пробивались наружу бессознательные мысли. Ей свыше 90 лет; было бы немудрено, если бы в начале каждого года я спрашивал себя, сколько ей еще осталось жить. В тот день, про который я рассказываю, я спешил, и потому взял извозчика, который и должен был отвезти меня к ней. Каждый извозчик с биржи против моего дома знает адрес старухи, ибо каждый из них не раз отвозил меня к ней. Сегодня случилось так, что извозчик остановился не перед ее домом, а перед тем же номером в близлежащей параллельной улице, действительно сходной. Я замечаю ошибку, ставлю ее извозчику на вид, тот извиняется. Должно ли что-нибудь обозначать, что меня подвезли к дому, в котором моей старой пациентки не оказалось? Для меня, конечно, ничего, но если бы я был *суеверен*, я увидел бы в этом обстоятельстве предзнаменование, знамение судьбы, что этот год будет последним в жизни старухи. Целый ряд предзнаменований, сохранившихся в истории, основывается на символике, ничуть не лучшей, чем эта. Во всяком случае я вижу в этом инциденте простую случайность, не имеющую значения.

Совершенно иначе обстояло бы дело, если бы я прошел этот конец пешком и затем «задумавшись», «по рассеянности» пришел бы к дому на параллельной улице. Это я счел бы уже не случаем, а поступком, имеющим бессознательное намерение и требующим истолкования. По всей вероятности я должен был бы истолковать его в том смысле, что я предполагаю в скором времени уже не застать более этой старой дамы.

Я отличаюсь, таким образом, от суеверного человека в следующем.

Я не думаю, чтобы событие, к совершению которого моя душевная жизнь непричастна, могло мне сказать что-либо о реальном будущем; но я думаю, что намеренное проявление моей собственной душевной деятельности вполне может разоблачить что-либо скрытое, опять-таки относящееся лишь к моей душевной жизни; если я и верю во внешний (реальный) случай, то не верю во внутреннюю (психическую) случайность. Суеверный же человек наоборот: не подозревает о мотивировке своих собственных случайных действий и погрешностей, верит в психические случайности, но зато склонен приписывать внешнему случаю значение, которое должно проявиться в форме реальных событий, склонен усматривать в случае средство выражения чего-то внешнего, скрытого от него. Различие между мной и

суеверным человеком двоякое. Во-первых, он проицирует наружу мотивировку, в то время как я стараюсь найти ее внутри; во-вторых, он истолковывает случай событиями, в то время как я свожу его к мысли. Однако *скрытое* у него отвечает *бессознательному* у меня, и нам обоим обще стремление не признавать случая случаем, а всегда истолковывать его.

Я и предполагаю, что это сознательное неведение и бессознательное знание мотивировки психических случайностей служит одним из психических корней суеверия. Так как суеверный человек не подозревает о мотивировке своих собственных случайных действий, и так как факт наличности этой мотивировки требует себе признания, то он вынужден путем передвижения отвести этой мотивировке место во внешнем мире. И если такая связь существует, то ее вряд ли можно ограничить этим единичным случаем. Я и думаю, что значительная доля мифологического миросозерцания, простирающегося даже и на новейшие религии, представляет собой *не что иное, как проицированную во внешний мир психологию*. Смутное познание [1]), (так сказать эндопсихическое восприятие) психических факторов и отношений бессознательного отражается—трудно вы-

---

[1]) Которое, конечно, не имеет ни одного из свойств познания.

разиться иначе, приходится воспользоваться аналогией с паранойией—в конструировании *сверхчувственной реальности*, которую наука должна опять превратить в *психологию бессознательного*. Можно было бы попытаться разрешить таким путем мифы о рае и грехопадении, о боге, добре и зле, о бессмертии и т. д., превратить *метафизику* в *метапсихологию*. Различие между сдвигами, происходящими у параноика и у суеверного человека, не так велико, как это кажется на первый взгляд. Когда люди начали мыслить, они были вынуждены, как известно, антропоморфически разложить внешний мир на множество лиц по своему собственному подобию; случайности, которые они суеверно истолковывали, были, таким образом, действиями, поступками определенных лиц; так что люди поступали тогда так же, как поступают параноики, делающие выводы из незаметных знаков, подаваемых им другими людьми, или как здоровые люди, с полным основанием определяющие характер своих ближних на основании случайных и непреднамеренных поступков. Суеверие представляется столь неуместным лишь в нашем современном, естественно-научном, но все еще далеко не законченном миросозерцании; в миросозерцании до-научных времен и народов оно было вполне законно и последовательно.

Римлянин, отказавшийся от важного предприятия из-за неблагоприятного полета птиц, был, таким образом, относительно прав; он действовал последовательно, сообразно со своими предпосылками. Но когда он отменял предприятие из-за того, что споткнулся на пороге своей двери («un romain retournerait»), то он и абсолютно стоял выше нас, неверующих, и лучше знал человеческую душу, чем знаем ее, несмотря на все старания, мы. Ибо тот факт, что он споткнулся, мог служить для него доказательством существования сомнения, встречного течения в его душе, которое могло в момент исполнения ослабить силу его намерения. Между тем, быть уверенным в полном успехе можно лишь тогда, когда все душевные силы дружно стремятся к желанной цели. Как отвечает шиллеровский Вильгельм Телль, так долго колебавшийся сбить выстрелом с головы своего мальчика яблоко, на вопрос фогта, зачем он приготовил вторую стрелу.

„Стрелою этой я тебя пронзил бы,
Когда б случайно в сына я попал.
И верно я тогда б не промахнулся“ [1]).

IV. Кто имел случай изучать скрытые душевные движения людей при посредстве психо-

[1]) Русск. перев. Миллера.

анализа, тот может сказать кое-что новое также и о качестве бессознательных мотивов, проявляющихся в суеверии. Яснее всего видишь на примере нервно-больных — часто весьма интеллигентных, страдающих навязчивыми идеями и неврозом навязчивых состояний,—что суеверие берет свое начало из подавленных враждебных и жестоких импульсов. Суеверие это в значительной мере ожидание несчастия; кто часто желает другим зла, но, будучи приучен воспитанием к добру, вытеснил такого рода желания за пределы сознания, тот будет особенно склонен ожидать наказания за такое бессознательное зло в виде несчастья, угрожающего ему извне.

Признавая, что этими замечаниями мы отнюдь не исчерпали психологии суеверия, мы все же должны, с другой стороны, хотя бы в нескольких словах коснуться вопроса, можно ли утверждать наверняка, что не существует предчувствий, вещих снов, телепатических явлений, проявлений сверхчувственных сил и т. п. Я далек от того, чтобы во всех случаях, не долго думая, порешать с плеча с феноменами, по отношению к которым мы располагаем таким множеством обстоятельных наблюдений, делавшихся выдающимися в интеллектуальном отношении людьми, и которые должны были бы послужить объектом дальнейших исследований. Можно даже на-

деяться, что тогда часть этих наблюдений получит, благодаря начинающемуся уже пониманию бессознательных душевных процессов, объяснение, которое не заставит нас производить радикальную ломку наших современных воззрений. Если бы суждено было оказаться доказуемыми еще и другим феноменам, как, напр., тем, о которых утверждают спириты, мы и произведем требуемую новыми познаниями модификацию наших «законов», не теряя, однако, представления об общей связи вещей.

В рамках этого изложения я могу ответить на поставленные вопросы лишь субъективно, т.-е. на основании моего личного опыта. К сожалению, я должен признаться, что принадлежу к числу тех недостойных, в чьем присутствии духи прекращают свою деятельность и сверхчувственное улетучивается, так что я никогда не имел случая пережить лично что-нибудь, могущее дать мне повод к вере в чудеса. Как и у всех людей, у меня бывали предчувствия и случались несчастия; однако они избегали друг друга, так что за предчувствиями не следовало ничего, а несчастья приходили без предупреждения. Когда я в молодые годы жил один в чужом городе, я нередко слышал, как дорогой мне голос,—который я не мог не узнать,—вдруг называет меня по имени; я

отмечал себе момент этой галлюцинации, чтобы затем, беспокоясь о родных, спросить у них, что случилось в это время. Не случалось ничего. Зато впоследствии мне случилось самым спокойным образом, ничего не чувствуя, работать с моими больными, в то время, как мое любимое дитя едва не умерло от кровотечения. Из числа тех предчувствий, о которых мне сообщали мои больные, также ни одно не могло быть признано мною за реальный феномен.

Вера в вещие сны насчитывает много приверженцев, ибо в его пользу говорит то обстоятельство, что многое, действительно, происходит впоследствии, так как его предварительно конструировало во сне желание. Однако в этом мало удивительного, и, обыкновенно, между сном и тем, что сбылось наяву, можно найти обычно еще глубокие различия, которых охотно не замечаешь в своем доверии ко сну. Прекрасный пример, действительно, пророческого сна дала мне возможность подвергнуть точному анализу одна интеллигентная и правдивая пациентка. По ее словам, ей однажды снилось, что она встретила своего бывшего друга и домашнего врача около какой-то лавки на такой-то улице. Когда она на следующее утро пошла во внутреннюю часть города, она, действительно, встретила его на том самом месте, какое

было указано во сне. Надо заметить, что за этим не произошло никаких событий, в которых могло бы обнаружиться значение этого удивительного совпадения, так что ни в чем позднейшем нельзя было найти для него достаточного основания.

Путем тщательного расспроса я установил, что нет доказательств того, чтобы дама эта вспомнила о своем сне в ближайшее после этой ночи утро, стало быть, перед своей прогулкой. Она ничего не могла возразить против такого изложения дела, которое устраняет из него все чудесное и оставляет лишь интересную психологическую проблему: однажды утром она шла по известной улице, встретила близ одной лавки своего старого домашнего врача, и при его виде у нее создалось убеждение, что в эту ночь ей снилась эта встреча на этом же месте. При помощи анализа можно было бы с большей или меньшей вероятностью установить, каким образом она пришла к этому убеждению, которое, вообще говоря, нельзя не признать до известной степени правдоподобным. Встреча на определенном месте после предварительного ожидания,—носит на себе все признаки свидания. Старый домашний врач воскресил в ней воспоминания о минувших временах, когда встречи с третьим лицом, которое было дружно также и с этим врачем, были для

нее полны значения. С этим господином она с тех пор поддерживала сношения и накануне мнимого сна тщетно ждала его. Если бы я мог сообщить подробнее о связанных с этим делом отношениях, мне было бы нетрудно показать, что иллюзия пророческого сна при виде друга прежних лет равносильна такого рода заявлению: «Ах, доктор, вы напомнили мне теперь о минувших годах, когда мне никогда не приходилось, назначив N свидание, ожидать его».

Простой и легко объяснимый пример того «удивительного совпадения», какое происходит, когда встречаешь человека, о котором как раз теперь думал, я наблюдал на самом себе, и, вероятно, этот пример характерен для аналогичных случаев. Несколько дней после того, как я получил звание профессора,—в монархических странах придающее человеку большой авторитет,—я гулял по внутренней части города, и мои мысли вдруг сосредоточились на ребяческой фантазии—мести некоей паре родителей. Эти люди позвали меня несколькими месяцами раньше к своей девочке, у которой в связи с одним сном начались интересные явления навязчивости. Я с большим интересом отнесся к этому случаю, генезис которого мне казался ясным; однако мое пользование было отклонено родителями, которые мне дали понять, что наме-

рены обратиться к заграничному авторитету, лечащему гипнотизмом. Теперь я фантазировал о том, как родители после возможной неудачи этого опыта просят меня начать мой курс лечения; они, мол, питают ко мне теперь полное доверие и пр. Я отвечаю им: да, теперь, когда я стал профессором, вы доверяете мне. Но звание ничего не изменило в моих способностях; если я вам был непригоден, будучи доцентом, вы можете обойтись без меня также и теперь, когда я стал профессором.—В этот момент моя фантазия была прервана громким приветствием: «Честь имею кланяться, г. профессор», и когда я взглянул на говорящего, я увидел, что мимо меня проходила та же самая пара родителей, которым я только что отмстил, отклонив их предложение. Не требовалось долгих размышлений, чтобы разбить иллюзию чудесного. Я шел по большой и широкой, почти пустой улице навстречу этой паре; взглянув мельком, быть может, на расстоянии двадцати шагов, я заметил и узнал их видные фигуры, но—по образцу отрицательной галлюцинации—устранил это восприятие, по тем же эмоциональным мотивам, которые затем сказались в якобы самопроизвольно всплывшей фантазии.

К категории чудесного и жуткого относится также и то своеобразное ощущение,

которое испытываешь в известные моменты и при известных ситуациях: будто уже раз пережил то же самое, уже был раз в том же положении, при чем ясно вспомнить то прежнее, дающее о себе, таким образом, знать, не удается. Я знаю, что лишь в очень свободном словоупотреблении можно назвать то, что испытываешь в такие моменты, ощущением; если дело и идет здесь о суждении и притом о познавательном суждении, то все же эти случаи имеют совершенно своеобразный характер, и нельзя упускать из виду того обстоятельства, что искомого не вспоминаешь никогда. Не знаю, был ли этот феномен «уже виденного» («déjà vu») серьезно приводим для доказательства психического предсуществования индивида; но психологи уделяли ему немало внимания и пытались разрешить загадку самыми разнообразными спекулятивными путями. Ни одна из этих попыток объяснения не представляется мне правильной, ибо ни при одной из них не принималось в расчет ничего иного, кроме сопутствующих и благоприятствующих феномену обстоятельств. Ибо те психические явления, которые, по моим наблюдениям, одни только могут быть ответственными при объяснении феномена «déjà vu», — именно — бессознательная фантазия, еще и теперь находятся в общем загоне у психологов.

Я полагаю, что называть ощущение «уже виденного» иллюзией—несправедливо. В такие моменты, действительно, затрагивается нечто, что уже было раз пережито, только его нельзя сознательно вспомнить, потому что оно и не было никогда сознательным. Ощущение «уже виденного» отвечает, коротко говоря, воспоминанию о бессознательной фантазии. Подобно сознательным существуют и бессознательные фантазии, (или сны наяву); каждый знает это по собственному опыту.

Я знаю, что тема эта заслуживала бы самого обстоятельного рассмотрения, но хочу привести здесь анализ одного единственного случая «déjà vu», в котором ощущение отличается особенной интенсивностью и длительностью. Одна дама, которой теперь 37 лет от роду, утверждает, что она самым отчетливым образом помнит, как она в возрасте 12½ лет впервые была в гостях у своих школьных подруг в деревне и, войдя в сад, тотчас же испытала такое ощущение, будто она уже здесь раз была; ощущение это повторялось, когда она вошла в комнаты, так что ей казалось, что она заранее знает, какая будет следующая комната, какой будет из нее вид и т. д. На самом деле, совершенно исключена—и опровергнута справками у родителей—возможность того, чтобы это чувство знакомства имело своим источником прежнее по-

сещение дома и сада, хотя бы в самом раннем детстве. Дама, рассказывавшая мне об этом, не искала психологического объяснения; в появлении этого ощущения она видела пророческое указание, которое впоследствии должны были иметь именно эти подруги для ее эмоциональной жизни. Однако рассмотрение обстоятельств, при которых имел место этот феномен, указывает нам путь к другому объяснению. Отправляясь в гости, она знала, что у этих девочек есть тяжело-больной брат. При посещении она видела его, нашла, что он очень плохо смотрит, и подумала: он скоро умрет. Теперь дальше: ее собственный, единственный брат был несколькими месяцами раньше опасно болен дифтеритом; во время его болезни она была удалена из дому родителей и жила несколько недель у одной родственницы. Ей кажется, что в той поездке в деревню, о которой идет здесь речь, участвовал также ее брат, кажется даже, что это была его первая большая прогулка после болезни; однако здесь ее воспоминания удивительно неопределенны, в то время как все прочие детали, особенно платье, которое было на ней в этот день, стоят у нее перед глазами с неестественной яркостью. Осведомленному человеку нетрудно заключить из этих показаний, что ожидание смерти брата играло тогда большую роль у этой девушки и либо

не было никогда сознательным, либо после благополучного исхода болезни подверглось энергичному вытеснению. В случае иного исхода она должна была бы носить другое платье— траурное. У подруг она нашла аналогичную ситуацию: единственный брат в опасности; вскоре он действительно умер. Она должна была бы сознательно вспомнить, что несколько месяцев тому назад сама пережила то же самое; вместо того, чтобы вспомнить это— чему препятствовало вытеснение—она перенесла свое чувство припоминания на местность, сад и дом, подверглась действию «fausse reconnaissance», и ей показалось, что она когда-то все это также видела. Из факта вытеснения мы имеем основание заключить, что ее ожидание смерти брата было не совсем чуждо окраски желательности. Она осталась бы тогда единственным ребенком. В своем позднейшем неврозе она страдала самым интенсивным образом от страха потерять своих родителей, и за этим страхом анализ, как это бывает обычно, мог вскрыть бессознательное желание аналогичного же содержания.

Мои собственные мимолетные переживания феномена «déjà vu» я мог подобным же образом вывести из эмоциональной констелляции момента. «Это был опять повод воскресить ту (бессознательную и неизвестную) фанта-

зию, которая в такой-то момент возникла во мне, как желание улучшить мое положение.

V. Недавно, когда я имел случай изложить одному философски образованному коллеге несколько примеров забывания имен вместе с анализом их, он поспешил возразить: все это прекрасно, но у меня забывание имен происходит иначе. Ясно, что так облегчать себе задачу нельзя; я не думаю, чтобы мой коллега когда-либо думал перед этим об анализе забывания имен; он и не мог сказать мне, как же, собственно, это у него происходит иначе.

Но его замечание все же затрагивает проблему, которую многие будут склонны поставить на первый план. Применимо ли данное здесь разрешение дефектных и случайных действий во всех или лишь в единичных случаях, и если только в единичных, то каковы те условия, при которых оно может быть допущено для объяснения феноменов, имеющих другое присхождение? То, что я знаю, не дает мне возможности ответить на этот вопрос. Я хочу лишь предостеречь от того, чтобы считать указанную здесь связь редкой, ибо сколько раз мне ни случалось производить испытание над собой ли самим или над пациентами, ее можно было, как и в приведенных примерах, с уверенностью установить, или, по крайней мере, найти веские

основания, заставляющие предполагать ее наличность. Неудивительно, если не всегда удается найти скрытый смысл симптоматического действия, ибо решающим фактором, который надо принять в соображение, является сила внутреннего отпора, сопротивляющегося разрешению. Нет также возможности истолковать каждый отдельный сон—у себя или у пациента; для того, чтобы подтвердить общеприменимость данной теории, достаточно, если нам удастся хотя бы несколько проникнуть вглубь скрытых соотношений. Сон, который в ближайший день, при первой попытке решения оказывается неприступным, нередко раскрывает свою тайну через неделю или через месяц, когда какое-либо реальное изменение, происшедшее за это время успело понизить значение борющихся одна с другой психических величин. То же можно сказать и о разрешении дефектных и симптоматических действий; пример очитки «в бочке по Европе» дал мне случай показать, как неразрешимый на первых порах симптом поддается анализу, когда отпадает *реальная заинтересованность* в вытесненных мыслях. До тех пор, пока было возможно, что мой брат получит завидный титул раньше, чем я, указанная выше ошибка в чтении оказывала отпор всем неоднократно делавшимся попыткам анализа; но когда выяснилась малая ве-

роятность того, чтобы брату было оказано предпочтение, предо мной внезапно открылся путь, ведущий к решению. Было бы, таким образом, ошибкой утверждать про все случаи, не поддающиеся анализу, что они произошли на основе психического механизма, чем тот, который здесь был вскрыт; для того, чтобы это допустить, недостаточно одних лишь отрицательных доказательств. Совершенно недоказательна также и готовность,—вероятно, присущая всем здоровым людям,—с какой мы верим в то, что есть какое-либо другое объяснение дефектных и симптоматических действий; само собой понятно, что она служит проявлением тех же психических сил, которые и создали тайну, которые поэтому становятся на защиту последней и сопротивляются ее выяснению.

С другой стороны, мы не должны упускать из виду, что вытесненные мысли и импульсы не самостоятельно создают себе выражение в форме симптоматических и дефектных действий. Техническая возможность подобного рода промахов иннервации должна быть дана независимо от них; и затем уже ею охотно пользуется вытесненный элемент в своем намерении дать о себе знать. Установить картину тех структурных и функциональных отношений, которыми располагает такое намерение, имели своей задачей, в применении

к словесным дефектным актам (ср. гл. V), подробные исследования философов и филологов. Если мы в совокупности условий дефектных и симптоматических действий будем таким образом, различать бессознательный мотив и идущие ему навстречу физиологические и психо-физические отношения, то остается открытым вопрос, имеется ли в пределах здоровой психики еще и другие моменты, способные, подобно бессознательному мотиву и вместо него, порождать на почве этих отношений дефектные и симптоматические действия. Ответ на этот вопрос не входит в мои задачи.

VI. После рассмотрения обмолвок мы ограничивались тем, что доказывали в дефектных действиях наличность скрытой мотивировки и при помощи психоанализа прокладывали себе дорогу к познанию этой мотивировки. Общую природу и особенности выражающихся в дефектных действиях психических факторов мы оставили пока почти без рассмотрения и во всяком случае не пытались еще определить их точнее и вскрыть закономерность их. Мы и теперь не возьмемся основательно исчерпать этот предмет, ибо первые же шаги показали бы нам, что в эту область можно проникнуть скорее с другой стороны. Здесь можно поставить себе целью ряд вопросов; я хотел бы их, по крайней

мере, привести и наметить их объем. 1. Каково содержание и происхождение тех мыслей и импульсов, о которых свидетельствуют дефектные и симптоматические действия? 2. Каковы должны быть условия, необходимые для того, чтобы мысль или стимул были вынуждены и оказались в состоянии воспользоваться этими явлениями, как средством выражения? 3. Возможно ли установить постоянное и единообразное соотношение между характером дефектного действия и свойствами того переживания, которое выразилось в нем?

Начну с того, что сгруппирую некоторый материал для ответа на последний вопрос. Разбирая примеры обмолвок, мы нашли нужным не связывать себя содержанием задуманной речи и вынуждены были искать причину расстройства речи за пределами замысла. В ряде случаев эта причина была под рукой, и говоривший сам отдавал себе в ней отчет. В наиболее простых и прозаичных на вид примерах фактором, расстраивающим проявление мысли, являлась другая формулировка—звучащая столь же приемлемо—той же самой мысли, и не было возможности сказать, почему одна из этих формулировок должна была потерпеть поражение, другая—пробить себе дорогу (контаминации у Meiringer'а и Mayer'а). Во второй группе случаев поражение одной формулировки мотивировалось

наличностью соображений, говоривших против нее, которые, однако, оказывались не достаточно сильными, чтобы добиться полного воздержания (напр.: «Zum Vorchwein gekommen»). Задержанная формулировка также сознается в этих случаях с полной ясностью. Лишь о третьей группе можно утверждать без ограничений, что здесь препятствующая мысль отлична от задуманной, и можно установить существенное, повидимому, разграничение. Препятствующая мысль либо связана здесь с расстроенной мыслью ассоциацией по содержанию (препятствие в силу внутреннего противоречия), либо по существу чужда ей. и лишь расстроенное слово связано с расстраивающей мыслью часто бессознательной,— какой-либо странной *внешней* ассоциацией. В примерах, которые я привел из моих психоанализов, вся речь находится под влиянием мыслей, ставших одновременно действенными, но совершенно бессознательных; их выдает либо само же расстройство мыслей (Klapperschlange—Kleopatra), либо они оказывают косвенное влияние тем, что дают возможность отдельными частями сознательно задуманной речи взаимно расстраивать одна другую (Asenatmen: за этим скрывается Hasenauerstrasse и воспоминания о француженке). Задержанные бессознательные мысли, от которых исходит расстройство речи, могут иметь самое

разнообразное происхождение. Этот обзор не приводит нас, таким образом, ни к какому общению, в каком бы то ни было направлении.

Сравнительное изучение примеров очиток и описок ведет к тем же результатам. Отдельные случаи здесь, как и при обмолвках, по-видимому, обязаны своим происхождением не поддающемуся дальнейшей мотивировке процессу «сгущения» (напр., der Apfe). Интересно было бы все же знать, не требуется ли наличности особых условий для того, чтобы имело место подобного рода сгущение—правомерное во сне, но ненормальное наяву; примеры наши само по себе не дают на это ответа. Я не сделал бы, однако, отсюда вывода о том, что таких условий—за вычетом разве лишь ослабления сознательного внимания—не существует; ибо другие данные показывают мне, что как раз автоматические действия отличаются правильностью и надежностью. Я скорее подчеркнул бы, что здесь, как это часто бывает в биологии, нормальное или близкое к нормальному является менее благоприятным объектом исследования, нежели патологическое. Я надеюсь, что выяснение более тяжелых расстройств прольет свет на то, что остается темным при объяснении этих наиболее легких случаев расстройства.

При очитках и описках также нет недостатка в примерах, обнаруживающих более

отдаленную и сложную мотивировку. «Im Fass durch Europa»—очитка, объясняющаяся влиянием отдаленной, по существу, чуждой мысли, порожденной подавленным движением зависти и честолюбия и пользующейся словами Beförderung, чтобы установить связь с безразличной и безобидной темой, заключающейся в прочитанном. В примере «Burckhard» связь устанавливается самим же именем «Burckhard».

Нельзя не признать, что расстройства функций речи создаются легче и требуют меньшего напряжения со стороны расстраивающих сил, чем расстройства других психических функций.

На другой почве стоим мы при исследовании забвения в собственном его смысле, т.-е. забвения минувших переживаний (от этого забвения в строгом смысле можно было бы отделить забвение собственных имен и иностранных слов, рассмотренное в главах I и II; его можно назвать «ускользанием»; и затем забывание намерений, которое можно обозначить, как «упущения»). Основные условия нормального забывания нам неизвестны [1]). Не сле-

[1]) Относительно механизма забывания в собственном смысле я могу сделать следующия указания. Материал, которым располагает память, подвергается, вообще говоря, двоякого рода воздействию: сгущению и искажению. Искажение—дело господствующих в душевной жизни тенденций, и направляется прежде всего против таких следов воспоминаний, которые еще сохранили способность вызывать аффекты и с

дует также упускать из виду, что не все то забыто, что мы считаем забытым. Наше объяснение относится здесь лишь к тем случаям, когда забвение нам бросается в глаза, поскольку оно нарушает правило, в силу которого забывается неважное, важное же удерживается в памяти. Анализ тех примеров забывания, которые на наш взгляд нуждаются

большей устойчивостью сопротивляются сгущению. Следы, ставшие безразличными, подвергаются сгущению без сопротивления; однако можно наблюдать, что тенденции искажения, оставшиеся неудовлетворенными в той области, где они хотели обнаружиться, пользуются для своего насыщения кроме того и безразличным материалом. Так как эти процессы сгущения и искажения тянутся долгое время, в течение которого на содержание наших воспоминаний оказывают свое действие все последующие события, то нам и кажется, что это время делает воспоминания неуверенными и неясными. Между тем весьма вероятно, что при забывании вообще нет и речи о прямом воздействии времени.—Относительно вытесненных следов воспоминаний можно констатировать, что на протяжении длиннейшаго промежутка времени они не терпят никаких изменений. Безсознательное находится вообще вне времени. Наиболее важная и вместе с тем наиболее странная особенность психической фиксации заключается в том, что с одной стороны, все впечатления сохранаются в том же виде, как они были восприняты, и вместе с тем—сохраняются все те формы, которые они приняли в дальнейших стадиях развития; сочетание, которого нельзя пояснить никакой аналогией из какой бы то ни было другой области. Таким образом теоретически любое состояние, в котором когда-либо находился хранящийся в памяти материал могло бы быть вновь возстановлено и репродуцировано даже тогда, если бы все те соотношения, в которых его элементы первоначально находились, были заменены новыми.

в особом объяснении, каждый раз обнаруживает в качестве мотива забвения неохоту вспомнить нечто, могущее вызвать тягостные ощущения. Мы приводим к предположению, что этот мотив стремится оказать свое действие повсюду в психической жизни, но что другие, встречные силы мешают ему проявляться сколько-нибудь регулярно. Объем и значение этой неохоты вспоминать тягостные ощущения кажутся нам заслуживающими тщательнейшего психологического рассмотрения вопроса о том, каковы те особые условия, которые в отдельных случаях делают возможным это забвение, являющееся общей и постоянной целью,—также не может быть выделен из этой более обширной связи.

При забывании намерений на первый план выступает другой момент; конфликт, о котором при вытеснении тягостных для воспоминания вещей можно лишь догадываться, становится здесь осязательным, и при анализе соответствующих примеров мы неизменно находим встречную волю, сопротивляющуюся данному намерению, не аннулируя его однако.

Как и при рассмотренных выше видах дефектных действий, здесь наблюдаются два типа психических процессов: встречная воля либо непосредственно направляется против данного намерения (когда намерение более или менее значительно), или же по своему су-

ществу чуждо намерению и устанавливает с ним связь путем *внешней* ассоциации (когда намерение почти безразлично).

Тот же конфликт является господствующим и в феноменах ошибочных действий. Импульс, обнаруживающийся в форме расстройства действия, представляет собой сплошь да рядом импульс встречный, но еще чаще просто какой-либо посторонний импульс, пользующийся лишь удобным случаем, чтобы при совершении действия проявить себя в форме расстройства его. Случаи, когда расстройство происходит в силу внутреннего протеста, принадлежит к числу более значительных и затрагивают также более важные отправления.

Далее, в случайных или симптоматических действиях внутренний конфликт отступает все более на задний план. Эти мало ценимые или совершенно игнорируемые сознанием моторные проявления служат выражением для различных бессознательных или вытесненных импульсов; по большей части они символически изображают фантазии или пожелания.

По первому вопросу,—о том, каково происхождение мыслей и импульсов, выражающихся в форме ошибок,—можно сказать, что в ряде случаев происхождение расстраивающих мыслей от подавленных импульсов душевной жизни может быть легко показано. Эгоистические, завистливые, враждебные чув-

ства и импульсы, испытывающие на себе давление морального воспитания, нередко утилизируют у здоровых людей путь дефектных действий, чтобы так или иначе проявить свою несомненно существующую, но непризнанную высшими душевными инстанциями силу. Допущение этих дефектных и случайных действий в немалой мере отвечает удобному способу терпеть безнравственные вещи. Среди этих подавленных импульсов немалую роль играют различные сексуальные течения. Если как раз эти течения так редко встречаются среди мыслей, вскрытых анализом в моих примерах, то виной тому—случайный подбор материала. Так как я подвергал анализу преимущественно примеры из моей собственной душевной жизни, то, естественно, что выбор носил предвзятый характер и стремился исключить все сексуальное. В иных случаях расстраивающие мысли берут свое начало из возражений и соображений, в высшей степени безобидных на вид.

Мы подошли теперь ко второму вопросу: каковы психологические условия, нужные для того, чтобы та или иная мысль была вынуждена искать себе выражения не в полной форме, а в форме так сказать паразитарной, в виде модификации и расстройства другой мысли. На основании наиболее ярких примеров дефектных действий скорее всего хо-

чется искать этих условий в том отношении, которое устанавливается к функции сознания, в определенном более или менее ясно выраженном характере «вытесненного». Однако при рассмотрении целого ряда примеров, характер этот все более и более растворяется в ряде расплывчатых намеков. Склонность отделаться от чего-нибудь в силу того, что данная вещь связана с потерей времени, соображения о том, что данная мысль собственно не относится к задуманной вещи,—повидимому, играют в качестве мотивов для вытеснения какой-либо мысли, вынужденной затем искать себе выражение путем расстройства другой мысли,—ту же роль, что и моральное осуждение предосудительного эмоционального импульса или же происхождение от совершенно неизвестного хода мыслей. Уяснить себе этим путем общую природу условий, определяющих собою дефектные и случайные действия,—нет возможности. Одно только можно установить при этих исследованиях: чем безобиднее мотивировка ошибки, чем менее избегает сознания мысль, сказывающаяся в этой ошибке, тем легче разрешить феномен, коль скоро на него обращено внимание; наиболее легкие случаи обмолвок замечаются тотчас же и исправляются самопроизвольно. Там, где мотивировка создается, действительно, вытесненными импульсами, там для разрешения тре-

буется тщательный анализ, могущий порою встретиться с трудностями, а иногда и не удасться.

Мы имеем, таким образом, право вывести из этого последнего рассмотрения указание на то, что удовлетворительное выяснение психических условий, определяющих собою дефектные и случайные действия, можно получить лишь подойдя к вопросу иным путем и с другой стороны. Мы хотели бы, чтобы снисходительный читатель усмотрел из этих рассуждений, что тема их выделена довольно искусственно из более обширной связи.

VII. Наметим в нескольких словах хотя бы направление, ведущее к этой более обширной связи. Механизм ошибок и случайных действий, поскольку мы познакомились с ним при помощи анализа, в наиболее существенных пунктах обнаруживает совпадение с механизмом образования снов, который я разобрал в моей книге о толковании снов, в главе о «работе сна». Сгущение и компромиссные образования (контаминации) мы находим и здесь, и там. Ситуация одна и та же: бессознательные мысли находят себе выражение необычным путем, посредством внешних ассоциаций, в форме модификации других мыслей. Несообразности, нелепости и погрешности содержания наших снов, в силу которых сон едва не исключается из числа

продуктов психической работы, образуются тем же путем (хотя и более свободно обращаясь с наличными средствами), что и обычные ошибки нашей повседневной жизни; *здесь как и там, кажущаяся неправильность функционирования разрешается в виде своеобразной интерференции двух или большего числа правильных актов.* Из этого совпадения следует важный вывод. Тот своеобразный вид работы, наиболее яркий результат которой мы видим в содержании снов, не должен быть относим всецело насчет сонного состояния психики, раз мы в феномене дефектных действий находим столь обильные доказательства того, что она действует также и наяву. Та же связь не позволяет нам усматривать в глубоком распаде душевной жизни, в болезненном состоянии функций необходимое условие для осуществления этих психических процессов, кажущихся нам ненормальными и странными.

Верное суждение о той странной психической работе, которая порождает и дефектные действия, и сонные видения, возможно лишь тогда, если мы убедимся, что симптомы психоневроза, специально—психические образования истерии и навязчивого невроза—повторяют в своем механизме все существенные черты этого вида работы. С этого должны были бы, таким образом, начаться наши дальнейшие исследования. Но рассмотрение дефек-

ных, случайных и симптоматических действий в свете этой последней аналогии представляет для нас еще и особый интерес. Если мы поставим их на одну доску с действиями психоневроза, с невротическими симптомами, то приобретут смысл и основание два весьма распространенных утверждения: что граница между нормальным и ненормальным в области нервозности не прочна и, что все мы немного нервозны. Можно независимо от врачебного опыта конструировать различные типы такого рода едва намеченной нервозности: то, что называется formes frustes невроза: случаи, когда симптомов мало, или когда они выступают редко или не резко, когда, таким образом, ослабление сказывается в числе, в интенсивности, в продолжительности болезненных явлений; но, быть может, при этом останется необнаруженным как раз тот тип, который, повидимому, чаще всего стоит на границе между здоровьем и болезнью. Этот тип, в котором проявлениями болезни служат дефектные и симптоматические действия, отличаются именно тем, что симптомы сосредоточиваются в сфере наименее важных психических функций, в то время как все то, что может претендовать на более высокую психическую ценность, протекает свободно. Обратное распределение симптомов, их проявление в наиболее важных индивидуальных и со-

циальных функциях,—благодаря чему они оказываются в силах нарушить питание, сексуальные отправления, обычную работу, общение с людьми,—свойственно тяжелым случаям невроза и характеризует их лучше, чем, скажем, множественность или интенсивность проявлений болезни. Общее же свойство самых легких и самых тяжелых случаев, присуще также и ошибкам, и случайным действиям, заключается в том, что *феномены эти могут быть сведены к действию не вполне подавленного психического материала, который, будучи вытеснен из области сознательного, все же не лишен окончательно способности проявлять себя.*

ОГЛАВЛЕНИЕ.

